This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

DK
209.6
.H4.S6

SMIRNOV

A.I. GERTSEN., EGO ZHIZN' I LITERATURNAIA DIEIATEL'NOST'.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ
БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

Smirnov, V. D.

А. И. ГЕРЦЕНЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

В. Д. Смирнова.

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1898.

PAUL-ALFRED DIDIER
Né à Plainpalais, le 23 septembre 1842.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стр.
	Вмѣсто предисловія	5
I.	Дѣтство, отрочество, юность	19
II.	Какъ учился Герценъ	35
III.	Дружба съ Огаревымъ	38
IV.	Университетъ	45
V.	Послѣ университета	54
VI.	Владиміръ на Клязьмѣ	72
VII.	Москва.—Новгородъ.—Петербургъ	78
VIII.	Литературная дѣятельность А. И. Герцена	100
IX.	Заграницей	123
X.	Переѣздъ въ Лондонъ.—Послѣдніе годы	142

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Освобожденіе крестьянъ по манифесту 19 февраля 1861 г. было для нашихъ отцовъ призывомъ къ полному обновленію жизни и прощаніемъ со всѣмъ старымъ, что тревожило, мучило и возбуждало отвращеніе и даже ненависть. Манифестъ былъ прочитанъ по всей странѣ при самой торжественной обстановкѣ, при звонѣ колоколовъ, священниками въ полномъ облаченіи, и крѣпостная Россія исчезла съ лица земли: пока она переводилась въ разрядъ временно-обязанныхъ. Во многихъ и многихъ мѣстахъ народъ праздновалъ, но въ сущности это былъ праздникъ не сѣрой мужицкой Россіи, а главнымъ образомъ интеллигенціи, которая увидѣла въ манифестѣ свою побѣду и прочла въ немъ призывъ къ политической жизни.

На первыхъ порахъ она даже не спрашивала себя, такъ ли это, и съ юношеской непосредственностью предалась восторгу и ликованію, не предчувствуя и не понимая, что она и такъ уже зашла слишкомъ далеко и что скоро ей придется вернуться назадъ и опять приняться за мирныя и неслышныя дѣла такъ называемыхъ свободныхъ профессій или переполнять собою департаменты. Теперь мы понимаемъ, что иначе и быть не могло, что интеллигенція не имѣла подъ собой почвы, что десятокъ людей и два-три кружка, которыми она гордилась въ прошлой своей исторіи, значили мало, вѣрнѣе, не значили почти ничего передъ громадной окружавшей ихъ жизнью. Но тогда, особенно въ первую минуту, ничего этого не было видно, а немногіе скептическіе голоса терялись въ общемъ шумѣ восторговъ.

Винить за это было бы прямо грѣшно: человѣкъ, вышедшій на

свободу, не можетъ на самомъ дѣлѣ приняться съ первой же минуты думать о томъ, что его ждетъ въ будущемъ,—онъ прямо радуется и дышетъ свѣжимъ воздухомъ, забывая обо всемъ. Ему хорошо и все окружающее кажется хорошимъ, ему легко и жизнь представляется легкой, радостной. Интеллигенція 60-хъ годовъ пережила эту минуту, пережила ее полною грудью и долго, годы и даже десятки лѣтъ, не могла забыть о ней. Восторгъ передавался со дня въ день все ослабѣвавшей волной, пока не распустился мало по малу въ сѣромъ туманѣ обыденной жизни. Одна, дѣйствительно, хорошая минута, одна историческая удача оказала неотразимое, мощное вліяніе на міросозерцаніе цѣлыхъ тысячъ людей, увеличила чувство ихъ собственнаго достоинства, надолго положила на ихъ рѣчи отпечатокъ самоувѣренности и гордаго сознанія того, что *мы* можемъ вліять на жизнь, *мы* можемъ устраивать ее по своему желанію и разумѣнію. Вѣдь нѣтъ болѣе могущественной иллюзіи, и поколѣніе 60-хъ годовъ испытало на себѣ всю ея силу.

Не все къ тому же было и иллюзіей, кое-что присоединилось къ ней и настоящее. Такъ или иначе мечты были осуществлены, а сознаніе того, что *мы* можемъ сдѣлать, *мы* можемъ устраивать свою жизнь сообразно съ разумомъ, однимъ историческимъ своимъ краемъ опиралось на дѣйствительность. Попробуемъ заглянуть въ ту обстановку.

Конечно для насъ манифестъ 19-го февраля не можетъ представлять того интереса, значенія, обаянія, наконецъ, которые онъ имѣлъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ. Мы плохо знаемъ его содержаніе и смотримъ на него просто какъ на историческій документъ...

Порою даже, подчиняясь впечатлѣніямъ современности, мы склонны умалять его значеніе... Мы говоримъ, что прежде, правда, народъ былъ закрѣпощенъ, терпѣлъ всякія обиды и истязательства отъ помѣщиковъ, но этотъ закрѣпощенный народъ жилъ въ сравнительномъ достаткѣ, и истязанія и обиды являлись не правиломъ, а исключеніемъ. Мужика и барина — продолжаемъ мы — соединялъ общій интересъ: хозяинъ-помѣщикъ понималъ и видѣлъ, что онъ можетъ быть богатъ лишь при условіи, если его мужики не разорены, если у нихъ есть скотъ, запасъ для посѣва, инвентарь, изба,— и даже если онъ сравнительно доволенъ своею судьбою. Случается,

о порою мы впадаемъ въ тонъ Карлейля, утверждая, что не только сударственныя установленія, не только общая выгода, а что-то угое, болѣе сильное и чистое, служило связью между помѣщи-ами и ихъ холопами, и это болѣе сильное и чистое — взаимная ривязанность, благожелательная у однихъ, покорная у другихъ. гношенія отцовъ къ дѣтямъ, патріархальные обычаи, любовные авы рисуются подчасъ—къ счастью не часто—нашей фантазіи. А, зумѣется, жизнь, вся сведенная къ рублю, къ постоянному страху редъ завтрашнимъ днемъ, къ ожесточенному пріискиванію себѣ кого нибудь мѣста и какой нибудь работы, а главное къ полному иночеству человѣка, чувствующаго, что ни до чего ему нѣтъ ни-кого дѣла,—куда ниже той, гдѣ съ одной стороны были отцы, съ угой дѣти.

Ну, что за бѣда, если отецъ порою отправитъ сына или дочь на онюшню и сдѣлаетъ тамъ имъ при помощи дюжихъ кучеровъ бла-желательное внушеніе; сынъ или дочь могутъ лишь благодарить науку и низко кланяться. Розги розгами, оброкъ оброкомъ, бар-щина барщиной, зато на сценѣ крѣпостного права фигурируютъ кія высокія чувства, какъ любовь, преданность, уваженіе.

Все это мы говоримъ порою, давая доказательство своей значи-льной растерянности и полнѣйшаго невниманія къ факторамъ рошлаго. Всѣ эти соображенія не могли быть въ шестидесятыхъ одахъ: они показались бы уродливыми, за ними немедленно усмо-рѣли бы лишь личный барскій эгоизмъ, желаніе продолжить въ езконечность жизнь на счетъ дарового крестьянскаго труда. Но въ аши дни это можно высказывать безъ всякихъ подозрительныхъ обужденій.

Мы ясно видимъ, что манифестъ 19-го февраля былъ уступкой тараго новому, мѣрой, какъ бы упускавшей изъ вида, что населе-іе возрастаетъ и будетъ возрастать со дня на день, и поэтому-то аше отношеніе къ нему не имѣетъ и не можетъ имѣть ничего бщаго съ отношеніемъ людей, для которыхъ онъ несомнѣнно былъ осуществленіемъ долгихъ историческихъ желаній.

На самомъ дѣлѣ съ извѣстной точки зрѣнія манифестъ былъ торжествомъ и побѣдой. Онъ завершилъ собою громадный періодъ мственнаго и экономическаго развитія Россіи, и завершилъ его естно, хорошо, прогрессивно. Для его порожденія удивительнымъ

образомъ соединились и всемогущество императорской власти, и вѣковое воздѣйствіе Европы, и работа интеллигентной мысли за цѣлое столѣтіе, и задолженность дворянскихъ имѣній, и неясное волненіе народной массы, искавшей вольности то въ сектантскихъ ученіяхъ, то въ дикихъ расправахъ съ помѣщиками. Несмотря на его неполноту, манифестъ—удивительно жизненный документъ; въ его сухихъ статьяхъ и параграфахъ опытный взглядъ историка найдетъ резюмированную работу четырехъ поколѣній, резюмированную сухо и сдержанно, но все же съ сознаніемъ важности и громадности предпринятаго дѣла.

Манифестъ въ той формѣ, въ какой онъ намъ извѣстенъ, составленъ и редактированъ въ петербургскихъ канцеляріяхъ. Всѣ характерныя особенности такого источника отпечатались на немъ. Вы видите въ каждой строкѣ, какъ сознаніе невозможности не дать кое что берется съ опасеніемъ дать слишкомъ много. Отсюда эти постоянныя оговорки, ограниченія, эти вѣчныя «но»; отсюда наконецъ этотъ переходъ—какъ замѣчено выше—крѣпостной Россіи не въ свободную, а во временно обязанную. Историческая, неустанная работа цѣлаго столѣтія была передѣлана въ канцеляріяхъ нѣсколько своеобразно. Сравните Наказъ Императрицы Екатерины II и манифестъ 19-го февраля. Въ первомъ не говорится ничего объ освобожденіи крѣпостныхъ, только намекается на это, и все же Наказъ—это утопія какъ для 61-го года, такъ и для нашего времени. За вѣчными оговорками и «но», за сухими статьями, трудно разсмотрѣть страстныя мечты лучшихъ интеллигентовъ. Но это можетъ быть сдѣлано и когда нибудь будетъ сдѣлано во всей полнотѣ и яркости.

Кромѣ Павла Петровича, всѣ государи, начиная съ Екатерины, мечтали объ освобожденіи. Павелъ Петровичъ, совершенно довольный тѣмъ, что у него 100 тысячъ полицеймейстеровъ, съ неподдѣльными слезами восторга слѣдилъ за маршировкой солдатъ, переименовалъ всѣхъ сержантовъ въ унтеръ-офицеровъ, и, сдѣлавъ еще много такого же, умеръ. Тутъ очевидно было не до утопій. Александръ I вступилъ на престолъ съ самыми вольнолюбивыми мечтами вплоть до конституціи, съ самыми лучшими намѣреніями. Онъ обижался, когда ему говорили, что онъ долженъ быть самодержцемъ; сдѣлалъ Сперанскаго любимцемъ за то, что тотъ

переводилъ на русскій языкъ англійскую конституцію, и плакалъ, когда совершенно случайно узнавалъ объ ужасахъ крѣпостничества, о томъ, напримѣръ, что помѣщики имѣютъ право продавать семейныхъ крестьянъ въ раздробь. Онъ издалъ указъ о вольныхъ хлѣбопашцахъ, привѣтствовалъ освобожденіе лифляндскихъ крѣпостныхъ и тосковалъ всю жизнь при видѣ окружавшаго его рабства. Николай Павловичъ умирая передалъ дѣло освобожденія своему наслѣднику. Сколько могъ, онъ подготовлялъ его постоянно, но страхъ за основы парализовалъ всѣ его усилія. Александръ II издалъ манифестъ 19-го февраля.

Возьмите теперь нашихъ баръ, вельможъ, министровъ. Въ сущности лучшіе изъ нихъ были противъ крѣпостничества со времени того же царствованія Екатерины. Въ тѣ времена зачитывались французскими просвѣтителями, особенно Руссо, про котораго Наполеонъ сказалъ: «еслибы его не было, не было бы и революціи»,— съ восторгомъ повторяли остроты Вольтера надъ привилегіями аристократіи и нѣсколько стыдились, что $^{9}/_{10}$ населенія русскаго государства обрѣтается въ подломъ холопскомъ состояніи. Извѣстно, что на знаменитомъ совѣтѣ, собранномъ Екатериной при первыхъ же слухахъ о пугачевскомъ бунтѣ, Григорій Орловъ, графъ и фаворитъ, объяснилъ волненія непомѣрными тягостями, возложенными на народъ, и требовалъ, чтобы эти тягости были облегчены въ значительной степени. На сторонѣ освобожденія былъ Панинъ, воспитатель наслѣдника, были и другіе, не менѣе знатные. Серьезно обсуждался вопросъ: нужно ли освободить холоповъ и какъ освободить ихъ. За лучшіе отвѣты назначались премія. Особенно носились съ тою мыслью, что прежде чѣмъ освободить тѣла, надо освободить души, подъ чѣмъ понимали народное образованіе. Были и такіе, которые лелѣяли совершенно феерическій проектъ о перевоспитаніи всѣхъ гражданъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ, «дабы сдѣлать ихъ благонравными и достойными свободы». Словомъ, идея жила, или, если можно выразиться, теплилась забытая послѣ второй турецкой войны, польскаго раздѣла, а главное, послѣ событій въ Парижѣ; она воскресла съ новою силою при Александрѣ Первомъ. Сперанскій любилъ ее, постоянно думалъ о ней—это несомнѣнно. Въ его знаменитомъ коренномъ проектѣ преобразованій освобожденіе крестьянъ выставляется не только какъ желательное,

но и прямо необходимое. Надо припомнить, какую тревогу забила старая партія, — къ которой, кстати сказать, причислялъ себя и Карамзинъ, послѣ того какъ сдѣлался государственнымъ исторіографомъ, — послѣ утвержденія государственнаго совѣта, министерствъ и т. д. Въ своей знаменитой запискѣ, написанной въ 1811 году, Карамзинъ особенно цвѣтистымъ языкомъ защищаетъ самодержавіе и крѣпостное состояніе, давая даже понять, что незыблемость одного опирается на незыблемости другого. Государь остался въ высшей степени недоволенъ запиской и давъ конституцію Польшѣ, порадовался, когда прибалтійскіе дворяне освободили своихъ эстонскихъ и ливонскихъ холоповъ, хотя и безъ земли. При Николаѣ Павловичѣ одинъ тайный комитетъ засѣдалъ за другимъ, цѣлыхъ 10 лѣтъ разбирали проекты по устройству крестьянскаго состоянія и хотя не сдѣлали ничего, зато по крайней мѣрѣ закрѣпили въ высшихъ сферахъ сознаніе неизбѣжности реформы. Изъ министровъ Канкринъ находилъ, что крѣпостное состояніе тормозитъ торговлю и промышленность, графъ Киселевъ предлагалъ вынести вопросъ на свѣтъ божій и вообще стоялъ за положительное его разрѣшеніе. Среди баръ, вельможъ и вообще высшей знати Александръ II нашелъ лучшихъ своихъ помощниковъ.

Что дѣлала интеллигенція—извѣстно. Уже у Радищева мы находимъ въ зародышѣ и отрицаніе прелестей нашего самобытнаго существованія, и преклоненіе передъ цивилизаціей Европы. Вмѣстѣ съ тѣмъ его знаменитая книга, погубившая автора, исполнена состраданіемъ къ народу, мечтами о грядущей свободѣ. Радищевъ какъ бы предугадалъ и Чаадаева, и будущихъ западниковъ; Шешковскій былъ формально правъ, упрекая его за нелюбовь къ отечеству: «оффиціальной» любви у Радищева на самомъ дѣлѣ не было.

При Александрѣ Первомъ интеллигентность и признаніе крѣпостничества законнымъ, необходимымъ, незыблемымъ—становились со дня на день все болѣе несовмѣстимыми. Это лучше всего проявилось въ движеніи декабристовъ, увлекшемъ весь цвѣтъ нашего немногочисленнаго европейски образованнаго класса. Декабристы думали не столько о политическихъ преобразованіяхъ, сколько объ общественно экономическихъ. Большинство ихъ люди молодые, богатые, знатные, выросшіе на революціонной западной литературѣ, несомнѣнно честные, не принимали близко къ сердцу

проса о конституціи и формахъ правленія вообще. Но рабзо, эти вѣчныя розги и палки, эта страшная Сибирь, куда люди ылались по усмотрѣнію помѣщиковъ, иногда просто за то, что они ли стары, слѣпы, глухи и, слѣдовательно, ихъ пришлось бы кортть,—вотъ что тревожило молодыя и честныя души, вотъ что охновляло ихъ. Они погибли, какъ погибъ и Радищевъ, какъ побаетъ всякій, кто на пятьдесятъ лѣтъ опередилъ свое время и не елъ нужнымъ затаить это про себя. Въ ту же александровскую оху жилъ Пушкинъ. Крѣпостничество собственно интересовало о очень мало, но онъ все же написалъ свой «Анчаръ», все же спраивалъ въ грустномъ раздумьи:

Увижу ли, друзья, народъ освобожденный
И рабство, падшее по манію царя?
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли наконецъ свободная заря?

Приходится миновать тридцатые года. Это годы романтическихъ ечтаній, душевныхъ грозъ, тоскливой неудовлетворенности, словмъ—годы Лермонтова, Печориныхъ, Чаадаевыхъ, или проклинавихъ все, или одну Россію во имя величія Европы. На сценѣ дѣйвовали обреченные люди, искренне страдавшіе, искренне мучвіеся и гибнувшіе одинъ за другимъ въ лицѣ лучшихъ своихъ предавителей, какъ Лермонтовъ отъ пули, Полежаевъ отъ водки. ацкіе были повсюду, они бросали въ лицо обществу, которое прерали, «стихъ, облитый горечью и злостью», но чувствовали, какъ зполезно все, что они дѣлаютъ, какъ безсмысленна и безполезна ся жизнь ихъ. Это—герои безвременья.

Но уже въ сороковыхъ годахъ мы находимъ идею созрѣвшею полнѣ. Она какъ бы прошла черезъ огненное крещеніе романтичекаго недовольства и лермонтовскихъ проклятій. Она выросла и крѣпла подъ ферулой нѣмецкой идеалистической философіи Шелинга и Гегеля и какъ бы «опредѣлилась» послѣ грозныхъ, но не сегда ясныхъ проклятій Лермонтова. Съ этой поры она знаетъ же, чего хочетъ и ищетъ. Печорины исчезаютъ изъ жизни, но исезаютъ не подъ ударами насмѣшки, а просто потому, что ихъ ремя прошло, что имъ нечего стало дѣлать. Ихъ можно помянуть обрымъ словомъ: они исполнили предназначенное имъ судьбой, отя это исполненіе стоило имъ жизни. Люди сороковыхъ годовъ

смѣнили романтиковъ тридцатыхъ. На сценѣ, правда, фигурирует то же поколѣніе, но оно стало думать и чувствовать уже по другому. Бѣлинскій, самъ переживший этотъ переворотъ, разсказал намъ о немъ въ своей статьѣ о «Героѣ нашего времени».

«Духъ его созрѣлъ для новыхъ чувствъ и думъ,—пишетъ онъ о Печоринѣ, подразумѣвая въ этихъ словахъ свой вѣкъ и самог себя,—сердце требуетъ новой привязанности: дѣйствительность—вот сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него».

Но что же это за дѣйствительность? Вѣдь не окружающая ж жизнь, не крѣпостное право, не канцелярская служба. Все это бы и раньше. Подъ дѣйствительностью Бѣлинскій понимаетъ здѣсь ка кую нибудь дорогую для сердца и полезную для жизни задачу, «свя тое дѣло», какъ выражались тогда. И оно нашлось, вѣрнѣе же воз родилось. Это было опять то же освобожденіе крестьянъ, та ж жажда облегчить жизнь обездоленному, и съ этой поры то и друго становится центромъ интеллигентной работы, и уже надолго — с небольшимъ перерывомъ на цѣлыхъ двадцать лѣтъ. Интеллигент ные кружки сразу, рѣзко—какъ это возможно только у насъ—мѣ няютъ свою физіономію. Шеллингъ забытъ, Гегель попрежнему считается божествомъ, но это уже другой Гегель, и выводы, кото рые дѣлаются изъ него, совсѣмъ иные. Судьба какъ бы пожалѣла «бѣдную русскую мысль», метавшуюся изъ угла въ уголъ, готовую преклониться въ лицѣ Чаадаева передъ католицизмомъ, а въ лицѣ Кирѣевскаго падавшую ницъ передъ воротами Оптинской пустыни, и нашла для нея лѣкарства.

Вѣдь Печорины, какъ и всѣ романтики тридцатыхъ годовъ, ни за что не могли ясно и опредѣленно отвѣтить на вопросъ, что ж собственно такъ тревожитъ ихъ, такъ мучаетъ. Они просто чув ствуютъ, что жизнь ихъ съѣдена кѣмъ-то и сами они погибли ни за что, ни про что,

«Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда»...

Они просто безпокойно метались. Они переживали то переходное состояніе духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ для человѣка есть только возможность чего-то дѣйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкѣ называется и хандрой, и ипохондріей, и мнительностью,

самопонѣніемъ, и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія, и что на языкѣ философскомъ называется *рефлексіи*. Въ этомъ состояніи человѣкъ какъ бы распадается на два человѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судитъ о немъ. Тутъ нѣтъ полноты ни въ какомъ чувствѣ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дѣйствіи: какъ только зародится въ человѣкѣ какое нибудь чувство, намѣреніе, дѣйствіе, — тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваетъ за нимъ, анализируетъ его, изслѣдуетъ, вѣрна ли, истинна ли эта мысль, дѣйствительно ли чувство, законно ли намѣреніе и какая тутъ цѣль,—и благоухающій цвѣтъ чувства блекнетъ не распустившись, мысль дробится въ безконечномъ, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ, рука, поднятая для дѣйствія, какъ окаменѣлая, останавливается на взмахѣ и не ударяетъ. Ужасное состояніе... Но закончилось, какъ выше замѣчено, въ сороковыхъ годахъ съ переѣздомъ Бѣлинскаго въ Петербургъ, съ образованіемъ кружка Герцена, Грановскаго и другихъ, съ появленіемъ романовъ Жоржъ Занда. Идея, повторяю, опредѣлилась и, если можно такъ выразиться, «вочеловѣчилась». Отчего напр. такъ понравилась Жоржъ Зандъ? «А потому, отвѣчаетъ Бѣлинскій, что для нея не существуютъ ни аристократы, ни плебеи; для нея существуетъ только человѣкъ, и она находитъ человѣка во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ положеніяхъ общества, любитъ его, сострадаетъ ему, гордится имъ и плачетъ за него»... Повѣяло любовью, человѣчностью, и съ отвлеченной высоты нѣмецкой идеалистической философіи русская передовая мысль спрыгнула въ дѣйствительность.

Это былъ страшный прыжокъ, прыжокъ гиганта. Надо удивляться здоровью, силѣ, живучести тѣхъ, кто рискнулъ на него и уцѣлѣлъ. А рискнули и уцѣлѣли многіе: между ними на первомъ планѣ Бѣлинскій и Герценъ.

Измѣнилось все—настроеніе, взглядъ. Въ землѣ притаились новое искусство и постарались привязать къ ней крѣпкимъ узломъ. Когда-то знаменитый стихъ Пушкина, обращенный къ поэту:

Ты—царь, живи одинъ —

казался уже смѣшнымъ.

«Духъ нашего времени таковъ, — читаемъ мы въ статьѣ 43-го года, — что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничивается «птичьимъ пѣніемъ», создаетъ себѣ

свой міръ, неимѣющій ничего общаго съ философскою и историч
скою дѣйствительностью современности, если она воображаетъ, ч
земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія стр
данія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ сновидѣні
и поэтическихъ созерцаній! *Свобода творчества легко согласуе*
съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себ
писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только бы
гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своей эпохи, усвоить себ
его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для это
нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, к
торое не отдѣляетъ убѣжденій отъ дѣла, сочиненія отъ жизни».

Такихъ мыслей не было въ тридцатые годы. Тогда они показ
лись бы смѣшными, странными, ненужными. Печоринъ презр
тельно усмѣхнулся бы, слушая ихъ, хотя несомнѣнно только и
нихъ было его спасеніе: онѣ принесли бы неизмѣримо больше польз
его усталой надломленной душѣ, чѣмъ всѣ поѣздки въ Персію, чѣм
всѣ романы съ Бэлами, Мери и т. д.

Умственные интересы измѣнились не менѣе рѣзко. Оказалос
уже недостаточнымъ знать Гегеля или Шеллинга или цитировать
наизусть Фейербаха. На горизонтѣ впервые появляется поклонени
естествознанію, и Герценъ пишетъ свои «Письма объ изученіи при
роды». Въ петербургскихъ журналахъ стали помѣщать статьи п
вопросамъ политической экономіи, естественно-научныя обозрѣнія
новыя эстетическія теоріи и въ то же время впервые была разъяс
нена русской публикѣ позитивная философія Конта. Движеніе с
каждымъ годомъ проникало и въ даль, и въ глубь, но странно: не
смотря на политико-экономическія и естественно-научныя формулы
въ которыя оно облеклось, источникомъ его было сердце. Что на
зывается не осушивъ пера, Герценъ послѣ «Писемъ» принимается
за «Сороку-Воровку»—этотъ рѣзкій памфлетъ противъ крѣпостни
чества; вскорѣ затѣмъ появляются первые очерки «Записокъ Охот
ника» Тургенева, удивительно подходившая къ духу времени по
вѣсть Григоровича «Антонъ-Горемыка». Съ этой минуты на зна
мени русской мысли красуется крупно и отчетливо написанно
слово: «народничество».

Проповѣдь шла все сильнѣе... все одна проповѣдь,—и смѣхъ
и плачъ, и книга, и рѣчь, и Гоголь, и исторія—все звало люде
къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ пра
вомъ; все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли
отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума... Н

повторяю, источникомъ всего этого было проснувшееся сердце. Люди тосковали, рвались на просторъ; но они уже знали теперь, почему они тоскуютъ и чего хотятъ:

«Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ... Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага, затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя; врагъ этотъ былъ—крѣпостничество».

Такъ разсказываетъ о томъ періодѣ своей жизни Тургеневъ. Въ то же время въ кружкѣ петрашевцевъ нервно и возбужденно читалъ Достоевскій свою «Неточку Незванову» и страстно декламировалъ:

«Увижу ли, друзья, народъ освобожденный
И рабство падшее по манію царя?...»

Причинъ такой рѣзкой, разительной перемѣны я пока объяснять не буду. Мнѣ важно лишь указать на переломъ и напомнить читателю, съ какой смѣлостью мысль его дѣдовъ отъ тоски и отчаянія тридцатыхъ годовъ перешла къ любви и вѣрѣ.

Живой источникъ былъ найденъ, дверь въ лучшее будущее чуть пріотворилась, и люди вздохнули свободнѣе.

Послѣ 48-го года, подъ вліяніемъ чисто внѣшняго давленія, движеніе прерывается. Часть его вмѣстѣ съ Герценомъ уходитъ за границу, другая въ лицѣ петрашевцевъ идетъ въ Сибирь искупать свои «грѣхи», Бѣлинскій умираетъ. Но мрачное семилѣтіе 1848—1855 не можетъ забить и заглушить всего. Это только отсрочка, болѣзненный, тяжелый кризисъ, послѣ котораго освобожденіе крестьянъ становится совершившимся фактомъ.

* * *

Было, значитъ, о чемъ вспомнить, было чему порадоваться. Вѣдь въ сущности со времени Петра Великаго и его знаменитаго указа о рекрутской повинности, закабалившаго всю Россію вплоть до 19-го февраля, живетъ и развивается одна грандіозная историческая эпоха наростанія и уплотненія государственнаго начала. Это наростаніе происходило роковымъ, стихійнымъ образомъ, и каждый годъ приносилъ свой камень, чтобы возвысить громадное зданіе.

Государственность *въ старомъ смыслѣ* слова и полное обезличеніе идутъ всегда рука объ руку. Это два тождественныя явленія, изъ которыхъ одно порождаетъ другое, образуя въ концѣ концовъ переплетъ взаимно дѣйствующихъ силъ. Старая государственность не признавала за человѣкомъ ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занятіе. Онъ долженъ былъ отдать себя всего, безъ остатка, въ службу. Его жизнь была предопредѣлена заранѣе, она вся проходила по чужой волѣ. Лучшій примѣръ такого полнаго поглощенія человѣка—это военная служба при Николаѣ Павловичѣ, продолжавшаяся цѣлыхъ 25 лѣтъ, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человѣку самому, когда могъ онъ ножить для себя, поѣсть не изъ казеннаго котла, лечь и встать не по барабану, повернуться въ ту сторону, въ которую хочетъ, завестись своей семьей? Ничего и никогда. У насъ—кратковременная повинность, въ то время — поглощеніе человѣка.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, какъ Кальвинъ, объявляла, что для нея не существуетъ людей, а только поступки. Въ Женевѣ ребенокъ, провинившійся въ богохульствѣ, подвергался суровому наказанію. У насъ дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшимъ за то, что онъ думалъ иначе, чѣмъ слѣдуетъ, ввела безконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человѣка, и горе тому, кто отступалъ отъ правила: наказаніе постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была вездѣ, въ канцеляріяхъ и департаментахъ, въ казармахъ и семьяхъ. Отъ крестьянина она требовала только труда (во имя чего, кстати замѣтить, многіе помѣщики брали на себя сами руководительство половымъ подборомъ), отъ солдата—только службы, отъ чиновника—только исполнительности, отъ дѣтей—только повиновенія.

19-е февраля нанесло страшный ударъ этой строгой, суровой системѣ. Манифестъ говорилъ, что человѣкъ можетъ жить и для себя. Онъ давалъ крестьянину свое поле, свой трудъ, возможность устраивать лично самому свое благосостояніе. Онъ разрѣшалъ ему любить по своему, жаловаться отъ себя, заниматься, чѣмъ хочетъ. Онъ давалъ ему самоуправленіе. Начались другія реформы—судебныя, административныя, военныя. Общество дружно подхватило ихъ и само ввело реформу въ семьѣ. Дѣти заявили, что они хотятъ жить по своему и для себя. Родителямъ пришлось согласиться.

Все это дѣлалось во имя личной свободы человѣка. Это было существленіемъ одной части интеллигентныхъ мечтаній. Манифестъ ошелъ дальше: онъ не только освободилъ крестьянъ, онъ освобо-илъ ихъ съ *землею*.

Говоря объ этомъ, Достоевскій впадаетъ въ лиризмъ. Онъ счи-аетъ освобожденіе крестьянъ съ землею великимъ фактомъ 19-го ѣка и началомъ новой эры. Не увлекаясь до такой степени, можно днако сказать, что здѣсь мы видимъ выраженіе всего положитель-аго, реальнаго теченія русской мысли,—теченія, создавшаго 60-ые оды и обострившагося въ нихъ.

Я уже говорилъ, что сороковые годы необходимо разсматривать акъ періодъ перелома въ интеллигентномъ міросозерцаніи. Здѣсь трѣшились отъ романтизма и отъ метафизическихъ воззрѣній, здѣсь ерецли къ изученію политической экономіи и естественныхъ аукъ, здѣсь рѣзко измѣнилось самое понятіе о свободѣ. Прежде одъ вліяніемъ Шиллера, Шеллинга, Гегеля ее понимали главнымъ бразомъ какъ свободу мысли, свободу сознанія. «Свобода внутри асъ»—это говорилось, доказывалось, возводилось въ догматъ. Разъ ы освободилъ себя въ мысли,—ты свободенъ и больше тебѣ желать ечего. Фраза Гегеля: «имѣть сто гульденовъ—и думать, что ты ихъ мѣешь,—то же самое»—не возбуждала ни насмѣшекъ, ни недо-мѣвающаго пожиманія плечами. Это былъ одинъ изъ догматовъ арвавшейся философской мысли, совершенно отрѣшенной отъ дѣй-твительности. И вдругъ сенъ-симонизмъ, романы Жоржъ Занда, олитическая экономія и естественныя науки. Люди мучительно адумались надъ тѣмъ, что же такое свобода, которой они такъ трастно желали. Оказалось, что имѣть и думать не то же самое; то свобода сама по себѣ звукъ пустой; что, находясь внутри чело-ѣка какъ самосознаніе, она должна опираться на что нибудь внѣ-інее; что нѣтъ права безъ возможности пользоваться имъ; нѣтъ вободы безъ возможности реализировать ее.

Это отчетливо доказалъ 48-й годъ. Конституціи, которыя ле-ѣялись такъ долго, которыя встрѣчались съ такими рукоплеска-іями, летѣли въ пропасть одна за другой, сопровождаемыя сви-томъ, шиканьемъ, проклятіями. А какъ хорошо расписаны были ъ нихъ права человѣка, какія великолѣпныя гарантіи придуманы ыли для нихъ юристами, какъ красиво звучали параграфы о сво-одныхъ республикахъ, всеобщей подачѣ голосовъ, обязанностяхъ

правительствъ радѣть прежде всего объ общемъ благѣ, благѣ народовъ и подданныхъ. И вдругъ все рухнуло. Оказалось, что все это былъ одинъ лишь миражъ, декораціи, которыя исчезли немедленно, какъ только жизнь вступила въ свои права. Правами и свободой воспользовались только тѣ, кто имѣлъ эту возможность, а неимущіе? Тѣ попрежнему влачили существованіе, не понимая, почему конституціи такъ пышно распространяются о томъ, что они полноправны?

Итакъ свобода не только въ правахъ, въ хартіяхъ, сознаніи. Ей нужна опора. Нашъ вѣкъ ясно говоритъ, какая опора нужна ей. Это собственность.

Манифестъ 19-го февраля разрѣшилъ и этотъ вопросъ, и разрѣшилъ его въ смыслѣ положительной философіи и реальнаго мышленія. Онъ надѣлилъ свободнаго крестьянина землей. И это было на самомъ дѣлѣ великимъ завоеваніемъ жизни, быть можетъ и правда, что это начало новой исторической эры.

Не всѣ поняли указанную сторону манифеста. Но тѣ, кто понялъ, привѣтствовали ее, потому что это было отчасти и ихъ дѣломъ. Они работали надъ разрушеніемъ романтизма и идеализма, они всю жизнь проповѣдывали положительную философію, естествознаніе, политическую экономію, реализмъ.

На первомъ планѣ среди этихъ дѣятелей стоитъ А. Герценъ. Главная заслуга въ переломѣ интеллигентной мысли сороковыхъ годовъ принадлежитъ ему.

I.

Дѣтство, отрочество, юность.

Александръ Ивановичъ Герценъ родился въ Москвѣ 25-го марта 1812 года, за нѣсколько мѣсяцевъ до нашествія Наполеона. Онъ ылъ внѣбрачнымъ сыномъ родовитаго русскаго барича Ивана лексѣевича Яковлева и молодой нѣмки Луизы Ивановны Гаагъ, оторую послѣдній увезъ изъ Штутгарта. Болѣе странную обстаовку, чѣмъ та, которая окружала Герцена въ дѣтскіе годы, трудно ебѣ и представить. И старое барство, и русское самодурство, и ѣмецкая кротость, и безалаберность крѣпостничества, и европейкія замашки—соединились всѣ вмѣстѣ возлѣ его колыбели снаала, его комнатки потомъ, чтобы создать одинъ изъ самыхъ разосторонних умовъ, которые только знаетъ наше прошлое.

Его отецъ, Иванъ Алексѣевичъ, вернувшись въ Москву изъ-за аницы, гдѣ онъ, скучая и зѣвая, провелъ цѣлый годъ, нанялъ мѣстѣ съ братомъ своимъ, сенаторомъ Львомъ Алексѣевичемъ, льшой домъ на Тверскомъ бульварѣ. Рѣшено было устроиться на граничный манеръ—просто и недорого; но, какъ бы въ насмѣшку дъ собственнымъ проектомъ, братья немедленно завели цѣлый тальонъ дворовой прислуги, ѣвшей, пившей и скучавшей безъ якой работы, пока какой-то изобрѣтательный форейторъ Филатка задумалъ устраивать гдѣ-то на задворкахъ пѣтушиныхъ боевъ. ль жизни для дворни нашлась. Господамъ отыскать ее оказалось раздо труднѣе, совершенно невозможно даже. Къ счастью средства ли громадныя, крестьяне аккуратно вносили оброкъ, и хотя стасты воровали неменѣе аккуратно,—все же оставалось слишкомъ же достаточно. Поэтому братья имѣли полную возможность троиться каждый по своему.

Старшій—Левъ Алексѣевичъ, дядя Герцена, былъ по характеру человѣкъ добрый, любившій разсѣяніе. Онъ провелъ всю жизнь въ мірѣ, освѣщенномъ лампами,—мірѣ оффиціально дипломатическомъ и придворно-служебномъ, не догадываясь, что есть другой міръ, посерьезнѣе, несмотря даже на то, что всѣ событія 1789—1815 годовъ не только прошли подлѣ, но и зацѣпляясь за него. Графъ Воронцовъ посылалъ его къ лорду Гренвилю, чтобы узнать о томъ, что предпринимаетъ генералъ Бонапартъ, оставившій египетскую армію. Онъ былъ въ Парижѣ во время коронованія Наполеона... Словомъ, онъ былъ на лицо при всѣхъ огромныхъ происшествіяхъ послѣдняго времени, но какъ то странно: не такъ, какъ слѣдуетъ. Возвратившись въ Россію, онъ былъ произведенъ въ дѣйствительные камергеры въ Москвѣ, гдѣ не было двора; не зная законовъ и русскаго судопроизводства,—онъ попалъ въ Сенатъ и сдѣланъ членомъ опекунскаго совѣта; всѣ должности исполнялъ съ рвеніемъ, которое только вредило,—и съ честностью, которую никто не замѣчалъ. Но онъ былъ неунывающій человѣкъ, вѣчно въ хлопотахъ и разъѣздахъ. Застать его дома было совершенно немыслимо. Онъ заѣзжалъ къ себѣ лишь для того, чтобы переодѣться, справиться о здоровьѣ племянника «Шушки», перемѣнить лошадей и опять мчаться куда нибудь по самому неотложному дѣлу. Утромъ онъ ѣхалъ въ сенатъ, два раза въ недѣлю на засѣданіе въ совѣтъ, столько же въ больницу, въ институтъ. Вечеромъ навѣщалъ тетку-княжну или сестеръ, или являлся на французскій спектакль, часто въ срединѣ пьесы, и уѣзжалъ, не дождавшись конца... Скучать ему было некогда: онъ всегда былъ занятъ, разсѣянъ; онъ все ѣхалъ куда-нибудь, и жизнь его катилась легко; до 75-ти лѣтъ онъ былъ здоровъ, какъ молодой человѣкъ, являлся на всѣхъ большихъ балахъ и обѣдахъ, на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ и годовыхъ актахъ,—все равно какихъ: агрономическихъ, медицинскихъ, страхового отъ огня общества, естествоиспытателей, археологовъ,—словомъ, куда угодно. Добродушная улыбка не сходила съ его лица, оживленная рѣчь не прекращалась ни на минуту: онъ постоянно разсказывалъ новости. Племянника баловалъ страшно.

Таковъ дядя—богатый, знатный, пустой, но милѣйшій и добрѣйшій человѣкъ, кость отъ кости и плоть отъ плоти когда-то веселой, добродушной, богатой Москвы. Не то былъ отецъ—Иванъ Алексѣевичъ.

«Нельзя, разсказываетъ о немъ самъ Герценъ, представить больше противоположнаго вѣчно движущемуся сангвиническому сенатору, какъ его брата. Иванъ Алексѣевичъ, вѣчно капризный, почти никогда не выходилъ со двора и ненавидѣлъ весь оффиціальный міръ. У него было тоже восемь лошадей (прескверныхъ), но его конюшня была вродѣ богоугоднаго заведенія для клячъ. Онъ держалъ ихъ отчасти для того, чтобы два кучера и два форейтора имѣли какое нибудь занятіе, сверхъ хожденія за «Московскими Вѣдомостями» и пѣтушиныхъ боевъ.

«Иванъ Алексѣевичъ рѣдко бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа и постоянно былъ всѣмъ недоволенъ; человѣкъ большого ума, большой наблюдательности, онъ бездну видѣлъ, слышалъ, помнилъ; свѣтскій человѣкъ, accompli, онъ могъ быть чрезвычайно любезенъ и занимателенъ, но онъ не хотѣлъ этого, и все болѣе и болѣе впадалъ въ капризное отчужденіе отъ всѣхъ. Откуда происходила злая насмѣшка и раздраженіе, наполнявшія его душу; недовѣрчивое удаленіе отъ людей и досада, снѣдавшая его? Развѣ онъ унесъ въ могилу какое нибудь воспоминаніе, которое никому не довѣрилъ, или это было просто слѣдствіе встрѣчи двухъ культуръ, до того противоположныхъ, какъ восемнадцатый вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способствующей развитію праздности. Прошлое столѣтіе произвело удивительный кряжъ людей на Западѣ, особенно во Франціи, со всѣми слабостями регентства, со всѣми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вмѣстѣ отворили настежъ двери революціи и первые ринулись въ нее, поспѣшно толкая другъ друга, чтобы выйти въ «окно» гильотины. Нашъ вѣкъ не производитъ больше этихъ цѣльныхъ, сильныхъ натуръ; прошлое столѣтіе, напротивъ, вызывало ихъ вездѣ, даже тамъ, гдѣ онѣ не были нужны, гдѣ онѣ не могли иначе развиться, какъ въ уродство. Въ Россіи люди, подвергнувшіеся вліянію этого мощнаго западнаго вѣянія, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы— въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для запада—русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и потерялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ.»

Всѣ esprits forts, волокиты съ сѣдыми волосами, неудачники родовой знати, ворчавшіе постоянно на быстрые успѣхи по службѣ выходцевъ вродѣ Сперанскаго или Аракчеева и находившіеся въ оппозиціи, которая такъ-же была нужна имъ, какъ обѣдъ въ Англійскомъ клубѣ, принадлежали къ этому кругу «московскихъ законодателей», — какъ ихъ называли тогда. Въ нихъ сильно было еще воспоминаніе екатерининскаго времени съ его безумною роскошью, фейерверками изъ государственныхъ ассигнацій, величавыми одами Державина, торжественнымъ настроеніемъ жизни, и они были не-

довольны тѣмъ, что все вокругъ нихъ становится уже, разсчетливѣе, прижимистѣе, что мѣсто вельможи занялъ чиновникъ, покорный, исполнительный, вообще—человѣкъ «себѣ на умѣ». «Нѣтъ, прежняго не вернешь, говорили они, то ли въ наше время». Для развлеченія устраивали они клубныя революціи: сначала чествовали Багратіона, зная, что онъ не угоденъ при дворѣ, потомъ бранили Сперанскаго, отворачивались отъ Аракчеева.

Среди нихъ Иванъ Алексѣевичъ пользовался большимъ вѣсомъ. Родовитость его была несомнѣнна. Онъ велъ свое происхожденіе отъ выходца изъ Пруссіи, короля Вейдевута; состояніе его, несмотря на безалабернѣйшее въ мірѣ управленіе помѣстьями, считалось сотнями тысячъ; свою оппозицію всему оффиціальному, пришлому онъ выказывалъ постоянно. Въ юности онъ служилъ въ Измайловскомъ полку, дослужился до капитана, бросилъ службу при восшествіи на престолъ Павла Петровича, опасаясь вѣроятно неожиданной поѣздки въ Сибирь, нѣсколько лѣтъ разъѣзжалъ по Европѣ изъ одного города въ другой, скучая и зѣвая, и наконецъ возвратился въ Россію, чтобы скучать и зѣвать, но уже на одномъ мѣстѣ и уже на всю жизнь. На самомъ дѣлѣ это былъ странный человѣкъ.

Людей онъ презиралъ откровенно, открыто, всѣхъ. Ни въ какомъ случаѣ не разсчитывалъ ни на кого и ни къ кому не обращался съ значительной просьбой,—онъ и самъ ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посторонними требовалъ одного—сохраненія приличій; les apparences, les convenances составляли его нравственную религію. Онъ многое прощалъ или, лучше сказать, пропускалъ сквозь пальцы, но нарушеніе формъ и приличій выводило его изъ себя: тутъ онъ становился безъ всякой терпимости, безъ малѣйшаго снисхожденія и состраданія. Онъ впередъ былъ увѣренъ, что всякій человѣкъ способенъ на все дурное, и если не дѣлаетъ, то или не имѣетъ нужды, или случай не подходитъ. Въ нарушеніи же формъ онъ видѣлъ личную обиду, неуваженіе къ нему или мѣщанское воспитаніе, которое по его мнѣнію отлучало человѣка отъ всякаго людского общества. «Въ жизни, говорилъ онъ, всего важнѣе l'esprit de conduite, важнѣе превыспренняго ума и всякаго ученія. Вездѣ умѣть найтися, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми чрезвычайная вѣжливость и ни съ кѣмъ фамильярности». Онъ не любилъ никакой откровенности и называлъ ее не иначе какъ ami-cochon'ствомъ, всякое чувство казалось ему санти-

ментальностью, и онъ постоянно представлялъ изъ себя человѣка, стоявшаго выше всѣхъ этихъ мелочей...

Не особенно крѣпкаго здоровья, не могшій поэтому ни кутить, ни распутничать, Иванъ Алексѣевичъ вдался въ другую крайность: онъ счелъ, или притворился, что счелъ себя безнадежно больнымъ. Его любимымъ чтеніемъ были медицинскія книги, по крайней мѣрѣ раскрытый лѣчебникъ всегда лежалъ на его письменномъ столѣ. Онъ безпрестанно лѣчился. Кромѣ домоваго доктора, къ нему ѣздили два или три медика, и онъ дѣлалъ по крайней мѣрѣ три консиліума въ годъ.

Это лѣченіе забавляло и развлекало его. Кромѣ того онъ съ наслажденіемъ пользовался всѣми привилегіями безнадежно больного человѣка: принималъ гостей въ халатѣ на бѣлыхъ мерлушкахъ, говорилъ всѣмъ дерзости, выводилъ изъ терпѣнія даже своего добродушнѣйшаго изъ смертныхъ брата сенатора, никогда не отвѣчалъ на визиты и дѣлалъ непріятности всѣмъ и каждому. Холодная безпощадная иронія, иронія человѣка, инстинктивно чувствующаго, что его жизнь прошла ни къ чему,—въ особенности отличала его. Взгляните на его лицо. Оно если не красиво, то родовито и внушительно. Длинный носъ, круглые на-выкатъ глаза съ мутнымъ, холоднымъ выраженіемъ, которые какъ бы дали зарокъ nihil admirari—никогда и ни чему не удивляться — и, что бы ни случилось, смотрѣть на все своимъ мутнымъ, холоднымъ, затаенно-насмѣшливымъ взглядомъ; тонкія губы, никогда не улыбавшіяся, общее ледяное выраженіе, говорящее о непомѣрномъ самолюбіи, о самомъ настойчивомъ эгоизмѣ,—таковъ Иванъ Алексѣевичъ на своемъ портретѣ. Къ чему иронія, надъ чѣмъ смѣяться? — онъ не спрашивалъ себя объ этомъ. Въ своей замкнутости ему пріятно и удобно, какъ раковинѣ въ скорлупѣ. Это броня, защита отъ жизни, которая очевидно чѣмъ то обидѣла его, чего то не дала ему, и онъ, капризный, избалованный баринъ, ушелъ въ себя, забросилъ куда то ключъ отъ своего сердца и знать ничего не хотѣлъ, кромѣ своихъ конвеансовъ и аппарансовъ. Онъ любилъ одного только сына своего «Шушку»—маленькаго Герцена, и терпѣть не могъ другого, также внѣбрачнаго—Егора Ивановича. Что опредѣляло его любовь и антипатію—сказать трудно, но чувство было искреннее, не безъ доли самоотреченія, какъ увидимъ ниже, и тѣмъ болѣе странное, что возлюбленный сынъ достался ему совершенно неожиданно.

Но какъ бы то ни было, Иванъ Алексѣевичъ сразу и навсегда привязался къ ребенку. Когда его спросили, какую дать фамилію новорожденному, онъ сказалъ «Herzen»—«сынъ любви». Онъ звалъ его не иначе какъ «Шушка» вплоть до того времени, пока у Герцена не появился свой собственный маленькій Шушка.

Оберегая ребенка отъ простуды, онъ не выпускалъ его изъ комнаты цѣлую зиму, а если дозволялъ прокатиться, то сверхъ шубы и теплой шали закутывалъ платками и шарфами. Предостерегая отъ разстройства желудка, держалъ на строгой діэтѣ. При малѣйшемъ насморкѣ или кашлѣ поднимались такія хлопоты и тревоги, что, глядя на нихъ, ребенокъ воображалъ себя сильно больнымъ и принимался блажить до того, что всѣхъ выводилъ изъ терпѣнія. Сейчасъ являлся докторъ, прописывалъ лѣкарства, которыя давалъ ему по часамъ и непремѣнно съ точностью до одной секунды самъ Иванъ Алексѣевичъ. Если «Шушка», закутанный въ мѣха, одѣяла и шарфы и лежа притомъ въ страшно натопленной комнатѣ, принимался колобродить и метаться, Иванъ Алексѣевичъ садился подлѣ него и старался его развлечь, давая ему ломать дорогія игрушки,—что, кстати сказать, Герценъ въ здоровомъ состояніи духа очень любилъ дѣлать,—а если это не помогало, бралъ его на руки и ходилъ съ нимъ по комнатѣ, пока ребенокъ не успокаивался. Замѣчательно между прочимъ, что чѣмъ больше безпокоилъ его сынъ, чѣмъ больше онъ капризничалъ, тѣмъ это больше нравилось Ивану Алексѣевичу: въ неудержимыхъ капризахъ Шушки онъ какъ бы любовался собственной своей природой.

Кромѣ отца, ребенка баловали всѣ окружающіе безъ исключенія. Заѣзжая разъ пять въ день домой, чтобы разсказать послѣднюю новость, сенаторъ непремѣнно привозилъ какую нибудь дорогую игрушку и, полюбовавшись на то, какъ Шушка, обуреваемый жаждой изслѣдованія, немедленно же приводилъ ее въ груду обломковъ,—опять исчезалъ на неизбѣжное засѣданіе. Его камердинеръ Кало, настоящій типъ стараго слуги, отказавшійся даже отъ любимой дѣвушки, когда узналъ, что баринъ женатаго держать при себѣ не будетъ,—ухаживалъ за ребенкомъ, какъ преданная нянька, и тѣшилъ его, напрягая при этомъ всю свою изобрѣтательность. Шушка цѣлые дни проводилъ въ его комнатѣ, куда скрывался отъ глазъ отца или отъ излишняго ухаживанія своихъ настоящихъ нянюшекъ, "хъ добрѣйшихъ старухъ, вѣчно вязавшихъ чулки, вѣчно вор-

чавшихъ,—докучалъ ему, шалилъ; Кало выносилъ все, вырѣзывалъ своему любимцу разныя чудеса изъ картонной бумаги или вытачивалъ изъ дерева забавныя бездѣлушки. По вечерамъ приносилъ изъ библіотеки книги съ картинками и терпѣливо показывалъ ихъ. Шушка любовался на всѣ, а особенно *понравившіяся* немедленно вырывалъ и, скомкавши, бросалъ на полъ.

Луиза Ивановна, мать, нѣжила сына меньше другихъ, но не перечила кричать, шумѣть и шалить цѣлые дни. Главные свои подвиги онъ и производилъ именно на ея половинѣ, потому что отца все же побаивался. Онъ былъ такъ живъ и рѣзвъ, что пять минутъ не могъ оставаться на одномъ мѣстѣ безъ шума. Колотилъ, стучалъ, ломалъ—только трещали доротія игрушки. По цѣлымъ часамъ барабанилъ въ барабанъ, расхаживая вокругъ комнатъ и не обращая ни на кого ни малѣйшаго вниманія. Иногда онъ становился у притолоки двери и начиналъ прыгать черезъ порогъ съ одной стороны на другую и пѣлъ на всю комнату краковякъ. Для этой операціи почему то надѣвалъ всегда халатикъ изъ мерлушекъ и подпоясывался зеленымъ шелковымъ поясомъ отца съ серебряной пряжкой. Разъ онъ такъ надоѣлъ матери шумомъ и трескотней, что она стала строго останавливать его. Это было такъ неожиданно, что ребенокъ, пристально посмотрѣвши на нее, вскрикнулъ: «Прощайте, умираю!» бросился на полъ, сложилъ руки крестомъ, закрылъ глаза и долго оставался неподвижнымъ, какъ ни уговаривали его подняться. «Я умеръ», повторялъ онъ и отчаянно дрыгалъ ногами при малѣйшемъ прикосновеніи. Къ этому средству онъ сталъ прибѣгать при всякомъ замѣчаніи, и не подозрѣвая, какой жестокій афронтъ готовитъ ему судьба. Однажды, когда онъ, заявивши о своей смерти, растянулся на полу, Луиза Ивановна закричала: «подите сюда кто нибудь! Саша умеръ; вынесите его и похороните»... Ребенокъ въ одно мгновеніе вскочилъ на ноги: «Какъ, меня хоронить? Нѣтъ! Я умеръ, но пойду». Съ этими словами онъ исчезъ въ сосѣдней комнатѣ и больше умирать не собирался.

Стоило только не попадаться на глаза отцу, который не могъ утерпѣть, чтобы при каждой встрѣчѣ не прочитать нотаціи, и ребенокъ былъ совершенно свободенъ. Онъ носился по всему дому, былъ своимъ человѣкомъ въ дѣвичьей, въ комнатѣ Кало, на половинѣ матери. Возможность дѣлать все, что угодно, не стѣсняясь, рано внушила ему мысль, что онъ центръ мірозданія.

Онъ росъ одинъ, не зная товарищества. Иногда впрочемъ къ нему привозили его родственницу Татьяну Петровну Пассекъ, тогда маленькую дѣвочку, и они вскорѣ стали друзьями, на томъ, разумѣется, условіи, чтобы меньшій другъ, т. е. Шушка, могъ командовать и распоряжаться по усмотрѣнію. Но это постоянное одиночество не развило въ немъ ни меланхоліи, ни созерцательности. Не «тихій нравъ достался ему въ наслѣдство», а гордая, упрямая энергія, безмѣрное себялюбіе, живой подвижный характеръ, не выносившій ничего однообразнаго, даже въ привязанностяхъ.

Родственники Ивана Алексѣевича, кромѣ сенатора, видя безмѣрную избалованность Шушки, предрекали, что въ немъ не будетъ пути, а основываясь на его тщедушности, ожидали, что чахотка скоро унесетъ его на тотъ свѣтъ, что по чисто наслѣдственнымъ соображеніямъ было для нихъ желательно.

Дѣйствительно, Герценъ въ дѣтствѣ былъ ребенокъ худой, блѣдный, съ рѣдкими, длинными бѣлокурыми волосами, съ большими темно сѣрыми глазами, въ которыхъ порой блестѣла искра веселости и рано засвѣтился умъ. Несмотря на свою черезмѣрную живость, онъ рѣдко улыбался; шалилъ и шумѣлъ и даже ломалъ игрушки совершенно серьезно, какъ бы дѣлая дѣло. Часто, бросивши игрушки, онъ останавливалъ взглядъ на одномъ предметѣ и точно вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположеніе къ себѣ родныхъ со стороны своего отца, несмотря на ихъ наружное вниманіе, онъ и самъ ихъ не любилъ и старался избѣгать ихъ присутствія. Родные между прочимъ не могли простить Ивану Алексѣевичу, что онъ держитъ при себѣ незаконнаго сына и «нѣмку», но сказать это въ глаза, разумѣется, не смѣли. Они знали, какимъ холоднымъ взглядомъ обдалъ бы ихъ при этомъ старый мизантропъ и какъ сказалъ бы онъ своимъ ровнымъ безъ повышеній и пониженій голосомъ: «ахъ, матушка (или батюшка), если тебѣ не нравится, какъ я живу, то кто же проситъ тебя бывать у меня?»... Еслибы ему слишкомъ сильно надоѣдали, старикъ былъ бы способенъ, пожалуй, нарушивъ всѣ конвенансы и аппарансы, повѣнчаться съ Луизой Ивановной,— шагъ, отъ котораго онъ удерживался всю жизнь изъ за какого-то барскаго упрямства. Быть можетъ даже ему просто нравилась эта открытая незаконная связь въ пику и на зло всѣмъ...

Въ Герценѣ рано появилась та особенная складка ума, которой впослѣдствіи онъ былъ обязанъ значительной долей своей литера-

турной извѣстности. Въ воспоминаніяхъ Пассекъ находимъ любопытную въ этомъ отношеніи страницу.

«Разъ,—говоритъ она,—когда Сашѣ было лѣтъ одиннадцать или двѣнадцать, собралось у Ивана Алексѣевича человѣкъ десять почетныхъ посѣтителей, въ томъ числѣ былъ и сенаторъ; всѣ они усѣлись въ залѣ около круглаго стола, за которымъ Луиза Ивановна разливала чай; мы съ Сашей помѣстились въ этой же комнатѣ за особымъ небольшимъ столомъ и, разложивши на немъ огромную книгу въ богатомъ переплетѣ, съ дворянскими гербами и родословными, стали ее разсматривать. Кто то изъ посѣтителей, обратясь къ намъ, спросилъ, какая это у насъ книга. Саша, не задумавшись, отвѣтилъ: «Зоологія». Я засмѣялась, нѣкоторые изъ гостей, изъ угожденія Ивану Алексѣевичу, одобрительно улыбнулись его остротѣ; но Иванъ Алексѣевичъ не улыбнулся, а, когда гости разъѣхались, задалъ намъ такую гонку, что мы долго не забывали «Зоологію». Меня распекъ, зачѣмъ поощряю Шушку къ дерзостямъ, забавляясь его неумѣстными остротами, а его—какъ смѣлъ непочтительно выразиться о русскомъ дворянствѣ, служившемъ отечеству, и заключилъ свою нотацію, обращаясь уже къ одному Сашѣ, словами:

— Ты не думай, любезный, чтобы я высоко ставилъ превыспренній умъ и остроуміе; не воображай, что очень утѣшитъ меня, если мнѣ скажутъ вдругъ: «Вашъ Шушка сочинилъ «Чортъ въ телѣжкѣ», я на это отвѣчу: «скажите Вѣрѣ, чтобы вымыла его въ корытѣ».

Мы покатились со смѣха.

Старикъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ этого, подошелъ къ круглому столу, подъ которымъ спокойно лежалъ Макбетъ, крикнулъ человѣка и велѣлъ ему вывести собаку на дворъ. Потомъ, обратясь къ намъ, сказалъ: «въ жизни esprit de conduite важнѣе превыспренняго ума и всякаго ученія»...

Старикъ читалъ нотаціи и былъ доволенъ. Откуда, какъ не отъ него, получилъ Герценъ свой умъ всегда на сторожѣ, свою безпощадную иронію? Въ этой «зоологіи», сказанной вмѣсто «генеалогіи», заключается прообразъ будущихъ всесокрушающихъ остротъ. Въ ребенкѣ старикъ видѣлъ и узнавалъ самого себя: достойный представитель его рода являлся на смѣну уходившимъ на покой старикамъ, и представителемъ былъ его любимецъ Шушка, въ которомъ энергія и способности били ключемъ. Другое время и другая обстановка, и Иванъ Яковлевичъ употребилъ бы вѣроятно свой тяжелый досугъ на какіе нибудь злостные мемуары, гдѣ досталось бы по заслугамъ каждому. Но онъ не терпѣлъ русскаго языка и только брюжжалъ на немъ: думалъ же и говорилъ всегда по французски. Русская литература занимала его столько же; русскихъ книгъ онъ не читалъ никогда и только разъ, услышавъ, что самъ Государь

интересуется «Исторіей» Карамзина, раскрылъ первый томъ, перевернулъ нѣсколько страницъ, зѣвнулъ и положилъ книгу на мѣсто, чтобы больше не дотрогиваться до нея никогда.

Теперь еще нѣсколько строкъ объ обстановкѣ дѣтскихъ лѣтъ Герцена.

«Прозѣвавъ нѣсколько лѣтъ заграницей, Иванъ Алексѣевичъ и сенаторъ хотѣли устроить жизнь на иностранный манеръ безъ большихъ тратъ и съ сохраненіемъ всѣхъ русскихъ удобствъ. Жизнь на иностранный манеръ не устраивалась—оттого ли, что не умѣли сладить, оттого ли, что помѣщичья натура брала верхъ надъ иностранными привычками. Хозяйство было общее, имѣніе нераздѣльное, огромная дворня заселяла нижній этажъ дома, всѣ условія безпорядка были на лицо. Пока сенаторъ жилъ вмѣстѣ съ Иваномъ Алексѣевичемъ, общей прислуги было человѣкъ до шестидесяти, кромѣ ребятишекъ, которыхъ пріучали къ праздности, лѣни, лганью»...

И вотъ здѣсь, среди безпорядка, капризовъ, лѣни, лганья, праздности, обилія на чужой счетъ, прошли дѣтскіе годы. Казалось бы, какія воспоминанія могли оставить они, кромѣ самыхъ безобразныхъ и нелѣпыхъ? А между тѣмъ самъ Герценъ помянулъ ихъ добрымъ словомъ и разсказалъ о нихъ намъ съ плохо скрытой любовью. Повинны въ этомъ такіе люди, какъ Кало, не знавшіе, чѣмъ и какъ угодить возлюбленному барчуку, какъ нянюшка Вѣра Артамоновна, готовая сто разъ повторять разсказъ о двѣнадцатомъ годѣ, о томъ, какъ французы ихъ всѣхъ ограбили; повинно самое дѣтство—послѣднее убѣжище для воспоминаній, когда все уже потеряно и дальше нѣтъ ничего. Старые баре въ этомъ отношеніи счастливѣе насъ: имъ есть вспомянуть добромъ хоть свое дѣтство.

«У Яковлевыхъ,—разсказываетъ Пассекъ,—спать меня клали въ комнатѣ Луизы Ивановны, на небольшомъ диванѣ; тутъ же стояла и кроватка Саши, обтянутая со всѣхъ сторонъ парусиной. Когда Вѣра Артамоновна, надѣвши на него ночную сорочку, укладывала его въ кровать, тогда приходилъ Иванъ Алексѣевичъ, держа во рту коротенькую трубочку, и, покуривши слегка въ комнатѣ, онъ смотрѣлъ, какъ обметывали на живую нитку по постели Саши покрывавшую его простыню, чтобы онъ ночью, раскинувшись, не простудился. Когда эта операція была окончена, Иванъ Алексѣевичъ покрывалъ его бѣлымъ байковымъ одѣяломъ и, перекрестивши, — уходилъ въ свое отдѣленіе, осмотрѣвши напередъ, все ли въ комнатѣ въ порядкѣ. Такъ какъ Сашѣ подъ приметанной простыней нельзя было ни вскакивать на постели, ни прыгать съ нея, ни бѣгать, ни ломать игрушекъ, то, по удаленіи Ивана Алексѣевича, у насъ начинались продолжительные разговоры, предметы которыхъ большей частью вертѣлись на

одномъ и томъ же: на страшномъ, поражающемъ воображеніе до того, что самимъ становилось жутко. Любимымъ разсказомъ Саши были ужасы, слышанные имъ отъ M-me Прово о масонахъ, при ложѣ которыхъ ея мужъ занималъ когда-то какую-то должность, и о французской революціи, во время которой едва не повѣсили на фонарѣ ея почтеннаго сожителя. «Разъ, начиналъ обыкновенно Саша, смирно лежа зашитый въ постели, M-me Прово попала въ комнату, гдѣ собирались масоны, когда тамъ никого не было, и перепугалась такъ, что чуть не умерла со страха. Комната была вся обтянута чернымъ сукномъ, посрединѣ стоялъ столъ, на столѣ крестъ, на крестѣ два кинжала, на нихъ мертвая голова. На стѣнахъ висѣли портреты всѣхъ масоновъ въ свѣтѣ, и если въ который нибудь изъ портретовъ выстрѣливали, то гдѣ бы ни былъ тотъ человѣкъ, чей портретъ былъ прострѣленъ, тотъ въ ту же минуту падалъ и умиралъ». Слушая это, я дрожала отъ страха и мнѣ всюду мерещились и черная комната, и кинжалы, и портреты. «А вотъ еще, говаривалъ Саша, была во Франціи революція, всѣ шумѣли, кричали; кто не шумѣлъ и не кричалъ, тѣмъ рубили головы, народъ бѣгалъ по улицамъ, все билъ, ломалъ, потомъ прибѣжали во дворецъ и тамъ все рубили и ломали, да надѣли себѣ на головы красные колпаки, запѣли пѣсни и пошли вѣшать людей на фонаряхъ, хотѣли повѣсить и M-eur Прово,—насилу спасла его Лизавета Ивановна»...

Разсказавъ эту малую исторію французской революціи, «Шушка» мирно засыпалъ въ своей кроваткѣ. И, въ самомъ дѣлѣ, что могло безпокоить его? Въ домѣ онъ былъ маленькимъ владѣтельнымъ принцемъ, всѣ поклонялись ему, всѣ слушались, всѣ развивали въ немъ тотъ безмѣрный эгоизмъ, къ которому онъ и такъ былъ склоненъ и по наслѣдственности, и по громадности своихъ дарованій. Правда, его окружало крѣпостничество, но не могъ же ребенокъ постигнуть сути его. Къ тому же чего нибудь особенно безобразно рѣзкаго онъ не видѣлъ, и не дѣтство воспитало въ немъ ненависть къ кабалѣ, а другія, болѣе поздніе впечатлѣнія.

«Ни сенаторъ,—разсказываетъ онъ,—ни Иванъ Алексѣевичъ особенно не тѣснили дворовыхъ, т. е. не тѣснили физически. Сенаторъ былъ вспыльчивъ, нетерпѣливъ и поэтому нерѣдко несправедливъ, но онъ такъ мало имѣлъ съ ними соприкосновенія и такъ мало ими занимался, что они почти не знали другъ друга. Иванъ Алексѣевичъ докучалъ имъ капризами, не пропускалъ ни взгляда, ни слова, ни движенія и безпрестанно шпынялъ и училъ, что для русскаго человѣка хуже побоевъ,—но вѣдь въ такомъ положеніи находилась и вся семья.»

Тѣлесныя наказанія были почти неизвѣстны. Два, три случая, когда прибѣгли къ посредству частнаго дома, были до того необыч-

новенны, что объ нихъ вся дворня говорила цѣлый мѣсяцъ. Часто отдавали дворовыхъ въ солдаты; наказаніе это приводило въ ужасъ всѣхъ молодыхъ людей; лучше хотѣли отправиться на конюшню, чѣмъ въ полкъ. Увидя однажды плачущаго рекрута, маленькій Герценъ подбѣжалъ къ нему и спросилъ:

— Вѣдь ты не хочешь идти въ солдаты?

— Не хочу...

— Какъ же тебя посылаютъ, если ты не хочешь?

Въ этомъ вопросѣ, если хотите, программа всей будущей философіи Герцена...

Случались порою и прямо безобразные факты, но безобразіе ихъ едвали было доступно дѣтскому пониманію. Я все же упомяну о нихъ, потому что ихъ смыслъ, ихъ идейное содержаніе послужило впослѣдствіи темой для полнаго драматизма разсказа «Сорока-воровка».

У сенатора былъ поваръ, обученный въ придворной кухнѣ. Кулинарныя дарованія его были громадны и обращали на себя общее вниманіе любившихъ хорошо покушать москвичей. Въ концѣ концовъ онъ удостоился высшей для повара чести—былъ приглашенъ въ Англійскій клубъ. Положеніе его было повидимому великолѣпно. Прекрасное жалованье, власть надъ безчисленными поварятами, барская одежда и квартира—чего бы еще кажется? Но бѣднягѣ въ недобрую минуту захотѣлось быть свободнымъ, и онъ предложилъ сенатору выкупъ, какой угодно. Сенаторъ отказалъ. «Зачѣмъ тебѣ свобода, сказалъ онъ, ты и такъ живешь, какъ хочешь»,—но тайную причину своего отказа онъ скрылъ. Дѣло въ томъ, что его самолюбію льстило имѣть знаменитаго повара. Когда онъ слышалъ похвалы ему, когда онъ видѣлъ, какъ объѣдаются гастрономы Англійскаго клуба,—онъ съ гордостью думалъ: «а вѣдь это *мой* Алексѣй». Получивъ отказъ, Алексѣй по обычному несчастному русскому рецепту сталъ пить, пропилъ все, утерялъ мѣсто и самъ пропалъ быстро и невозвратно.

У того же сенатора былъ молодой крѣпостной докторъ, лѣчившій весь домъ и удачно практиковавшій на сторонѣ. Какъ-то онъ влюбился въ бѣдную дворянку, скрылъ отъ нея свое сословное состояніе и женился. Мирно прошло нѣсколько лѣтъ, но на бѣду жена узнала какъ-то, что ея мужъ крѣпостной, и разошлась съ нимъ. Напрасно молилъ онъ о свободѣ... Онъ также запилъ и повѣсился...

Всего этого Герценъ не видалъ и не понималъ, хотя того, что нъ видѣлъ, было достаточно для перваго толчка возмущенной совѣсти...

* * *

Извиняюсь, что такъ долго останавливался на обстановкѣ, окружавшей Герцена въ его дѣтскіе годы. Но думаю, что эта обстановка ыграла въ его жизни гораздо болѣе важную роль, чѣмъ какую ей быкновенно приписываютъ. Біографы-критики съ особенной словохотливостью останавливаются на вліяніи кружковъ, ссылки и т. д. Никто и не думаетъ отрицать того вліянія, но нельзя забывать и темпераментѣ, первыя проявленія котораго относятся къ дѣтству и тамъ же окончательно формируются. Съ нѣкоторыми незначительными ограниченіями можно, кажется, утверждать, что темпераментъ Герцена полученъ имъ прямо отъ отца. Иванъ Алексѣевичъ возродился въ сынѣ своемъ, но это обновленіе, эта метемпсихоза были обновленными, улучшенными и подверглись какъ бы очищенію. Въ отцѣ мы видимъ сильную наклонность къ ироніи, скептицизмъ, дошедшій до отрицанія всего кромѣ конвенансовъ, властолюбіе, а главное «капризность» характера. Можно ли отрицать въ сынѣ тѣ же черты? Правда, талантъ Герцена придалъ имъ другую окраску, осмыслилъ многое, что въ старикѣ явилось непосредственнымъ и порою даже грубымъ проявленіемъ натуры. Но сущность дѣла отъ этого нисколько не измѣняется. Герценъ ничему и никогда не могъ отдаться цѣликомъ. Его капризный, прихотливый умъ никогда не могъ отдаться ничему безусловно и, облюбовавъ какой-нибудь предметъ или человѣка, начиналъ немедленно же «подкапываться подъ него, отыскивать въ немъ недостатки и, увлекаясь этой работой, доходилъ въ крайности своего увлеченія до парадоксовъ. Поэтому и могутъ существовать о Герценѣ такія разнообразныя мнѣнія. Одни считаютъ его «идеалистомъ тридцатыхъ годовъ» (напр. А. М. Скабичевскій, Анненковъ), другіе—чистымъ пессимистомъ (напр. Н. Страховъ). На основаніи сочиненій Герцена можно доказать, и даже блестяще доказать, не только эти два мнѣнія, а еще десять имъ подобныхъ. Въ богато и разнообразно одаренной натурѣ Герцена сочетались противоположные элементы. Онъ глубоко пережилъ всѣ направленія своей эпохи; во всякой сферѣ, куда онъ ни обращался, онъ сказалъ новое слово, но онъ не могъ что-нибудь без-

условно признать и чему-нибудь отдаться цѣликомъ, тѣмъ менѣе навсегда. Отъ этого-то такіе прямолинейные люди, какъ напр. Чернышевскій, прямо-таки не долюбливали его и называли «баричемъ», отъ этого никогда никакой опредѣленной программы у Герцена не было. Возьмите его отношеніе къ Европѣ. Онъ совершенно разсорился съ ней и наговорилъ ей столько жесткой правды, какъ никто и никогда: ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ европейскихъ народностей онъ не хотѣлъ видѣть ровно ничего хорошаго. Это уже крайность, излишняя требовательность ума и натуры, которыя требуютъ или всего, или ничего. Совершенно такъ-же относился Иванъ Алексѣевичъ къ Россіи и самой жизни. Герценъ поддался чувству обиды и не хотѣлъ даже видѣть новыхъ ростковъ, которые давала европейская жизнь на его же глазахъ. То же вышло у него и съ эмиграціей, отъ которой онъ какъ будто требовалъ чего-то идеальнаго, и, не найдя его, дошелъ до раздраженія, почти до брани. Только на одно—на науку онъ никогда не посягалъ, а какъ и почему это вышло, увидимъ ниже. Пока же довольно сказаннаго и довольно помнить, что темпераментъ Герцена былъ прямымъ отрицаніемъ политической агитаціи, которая немыслима безъ фанатизма, что его глубокій, но капризный и аристократическій умъ, его наклонность къ созерцанію — тянули его къ художественной дѣятельности. Вытянуть міросозерцаніе Герцена въ одну линію—невозможно, и только одна черта проходитъ красною нитью черезъ всѣ настроенія—это черта реализма, стремленія къ положительной мысли.

* * *

Переходимъ къ разсказу. Совершенно естественно, что между отцомъ и сыномъ, несмотря на несомнѣнную любовь перваго и привязанность второго, столкновенія были неизбѣжны, какъ между двумя властолюбивыми, слишкомъ близкими въ своихъ крайностяхъ натурами. Этими стычками можно было бы наполнить цѣлыя страницы, но я предпочитаю остановиться на одной—самой рѣзкой и характерной.

Я уже упоминалъ, что Герценъ былъ незаконнорожденнымъ. Скрывали отъ него это очень долго, и лишь 12-ти лѣтъ узналъ онъ правду, узналъ совершенно случайно и, пожалуй, на горе себѣ. Миръ исчезъ изъ дѣтской души, неясныя, но тревожныя чувства

зашевелились въ ней. Что такое незаконный, почему незаконный— мальчикъ не зналъ, но въ этомъ словѣ ему чуялось что-то тяжелое, гнетущее. Онъ сталъ раздражительнѣе и держалъ себя съ этой поры на сторожѣ, особенно съ родными отца. Онъ понялъ, что для нихъ онъ совершенно чужой. Его стѣсняло порою даже пребываніе въ своемъ домѣ.

«Разъ, — разсказываетъ Пассекъ, — при мнѣ, во время обѣда, проходившаго во всеобщемъ молчаніи, Иванъ Алексѣевичъ былъ въ особенно язвительномъ настроеніи духа и, не находя предмета, на который приходилось бы кстати излить его, прикинулся несчастнымъ, сталъ жаловаться на свою участь, недуги, безпомощность и сиротливость.

— И вотъ,—повершилъ онъ свои жалобы, на которыя никто не отозвался ни однимъ словомъ, — вотъ живу совсѣмъ одинокъ, а повидимому съ семействомъ. Живетъ у меня барышня съ своимъ сынкомъ, воспитанникъ—наградила имъ сестрица-княгиня...

Александръ не далъ ему докончить этой рѣчи. Внѣ себя, блѣдный, онъ всталъ изъ-за стола и дрожащимъ голосомъ сказалъ:

— Далѣе выносить вашихъ оскорбленій я не могу позволить ни себѣ, ни моей матери. При вашемъ взглядѣ на наши отношенія между нами ничего не можетъ быть общаго. Позвольте намъ сейчасъ же оставить вашъ домъ.

Старикъ былъ пораженъ и опомнился.

— Полно, помилуй,—заговорилъ онъ тихимъ, испуганнымъ голосомъ, — что ты, зачѣмъ, я такъ, ты понимаешь, ты знаешь меня, успокойся...

— Вы насъ притѣсняете, оскорбляете, — говорилъ Александръ въ сильномъ волненіи,—упрекаете въ чемъ... чья вина?.. наша что-ли?—нѣтъ, переносить эту унизительную жизнь далѣе нельзя... не должно... Боже мой!

— Полно, оставь, успокойся... прости меня, — сказалъ старикъ прерывающимся голосомъ и зарыдалъ.

Александръ закрылъ лицо руками.

Всѣ, страшно встревоженные, встали изъ-за стола.

Старикъ, охая и сгорбившись вдвое противъ обыкновеннаго, увелъ Александра къ себѣ въ кабинетъ. Спустя часъ времени Саша вышелъ изъ кабинета мрачный, разстроенный. Иванъ Алексѣевичъ смиренно лежалъ на диванѣ, голова его была обвязана батистовымъ платкомъ, намоченнымъ одеколономъ.

Съ этого времени старикъ сдѣлался сдержаннѣе и съ Сашей сталъ обращаться съ нѣкоторымъ уваженіемъ.»

Этотъ горячій взрывъ гордости, обиженнаго самолюбія хорошо показываетъ, какъ наболѣла душа Герцена въ частыхъ думахъ о незаконности. Быть можетъ эти же думы поставили его навсегда въ

противорѣчіе съ приличнымъ обществомъ. Онъ не долюбливалъ его, не посѣщалъ никогда. Литераторы, ученые, изгнанники—вотъ его кружокъ со дней юности вплоть до самой смерти. Стараться о томъ, чтобы сдѣлаться своимъ въ гостиныхъ титулованныхъ родственниковъ, онъ не хотѣлъ и не могъ: гордость мѣшала, не позволяло чувство собственнаго достоинства.

II.

Какъ учился Герценъ.

Иванъ Алексѣевичъ нанялъ своему любимцу «француза Бушо изъ Меца учить по-французски и нѣмца Эка изъ Сарепты—учить по-нѣмецки». Немного замѣчательнаго въ обоихъ педагогахъ, и Герценъ въ «Быломъ и думахъ» удѣляетъ имъ всего нѣсколько строкъ.

«Бушо,— разсказываетъ онъ, — былъ мужчина высокаго роста, совершенно плѣшивый, кромѣ двухъ-трехъ пасмъ волосъ безконечной длины на вискахъ. Важность отпечатлѣвалась не только въ каждомъ поступкѣ его, но и въ каждомъ движеніи. Онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой, голова у него никогда не гнулась; ко всему этому французская физіономія конца прошлаго вѣка, съ огромнымъ носомъ, нависшими бровями,—одна изъ тѣхъ физіономій, которыя можно видѣть на хорошихъ гравюрахъ, представляющихъ народныя сцены временъ федераціи. Бушо уѣхалъ изъ Парижа въ самый разгаръ революціи и, припоминая теперь его слова и лицо, можно думать, что citoyen Bouchot не былъ празднымъ ни при взятіи Бастиліи, ни 10 августа. Онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца и тамошней соборной церкви. О революціи онъ почти никогда не говорилъ, но какъ-то грозно улыбался.»

Всѣ усилія Бушо заинтересовать своего непокорнаго ученика грамматикой, спряженіями и склоненіями не приводили ни къ чему. Въ минуту самаго тонкаго обсужденія вопроса о различіи между тѣмъ и другимъ passé Герценъ внезапно задавалъ вопросъ: «а почему казнили Людовика XVI?», или еще болѣе пикантный: «а почему васъ не повѣсили на фонарѣ?». Бушо сердился, бранился и уходилъ наконецъ, опираясь на свою высокую суковатую палку.

Одинаково неудачно дѣйствовалъ и нѣмецъ изъ Сарепты—Иванъ Ивановичъ Экъ.

«Иванъ Ивановичъ, по преимуществу учитель музыки, былъ такъ же высокъ ростомъ, какъ и Бушо, но такъ тонокъ и гибокъ, что походилъ на развернутый англійскій футъ, который на каждомъ дюймѣ гнется въ обѣ стороны. Фракъ у него былъ сѣренькій, съ

перламутровыми пуговицами, панталоны черныя, какой-то неопредѣленной, допотопной матеріи; онѣ смиренно прятались въ сапоги съ кисточками; ихъ выписывалъ Экъ изъ Сарепты. Это было одно изъ тѣхъ тихихъ, кроткихъ нѣмецкихъ существъ, исполненныхъ простоты сердечной, кротости и смиренія, которыя, неузнанныя никѣмъ и счастливыя въ своемъ маленькомъ кружечкѣ, живутъ, любятъ другъ друга, играютъ на фортепіано и умираютъ такъ, какъ жили. Это лицо изъ реформаціи, изъ временъ пуританизма во всей его чистотѣ.»

Съ Иваномъ Ивановичемъ Герценъ церемонился еще меньше, чѣмъ съ Бушо. По-нѣмецки онъ и раньше говорилъ хорошо, а въ надобности грамматики сомнѣвался сильно. Онъ становился внимательнымъ лишь въ тѣ минуты, когда Экъ читалъ ему Шиллера, но и тутъ бѣда: «не успѣетъ чувствительный нѣмецъ раскрыть книгу, какъ сейчасъ расплачется и хлюпаетъ такъ, точно ходитъ по лужѣ».

Живость характера, скука преподаванія мѣшали Герцену учиться. Вѣдь сколько нужно почтительности, смиренія, подчасъ забитости, а больше всего дрессировки, чтобы изучать... хотя бы грамматику. Но ни однимъ изъ этихъ качествъ, способствующихъ воспріятію всѣхъ passé, предлоговъ и союзовъ, Герценъ не обладалъ. Пытались воздѣйствовать на его самолюбіе, но и тутъ подошли очевидно не съ той стороны, съ какой слѣдовало. Однажды Бушо, испробовавъ всѣ средства, усадилъ за урокъ вмѣстѣ съ Герценомъ Т. Пассекъ. Дѣвочка бойко отвѣчала на всѣ вопросы, но ея пріятель оставался невнимательнымъ попрежнему. Мало того, послѣ урока, когда обнаружилось все его невѣжество, онъ проявилъ чрезмѣрную радость: «Знаешь, Таня,—сказалъ онъ,—Бушо хотѣлъ тебя срѣзать, да не удалось...»

Онъ учился самъ. Рано начавши читать, онъ пристрастился къ этому занятію. Доступъ въ библіотеку былъ совершенно свободенъ, за выборомъ книгъ не слѣдилъ никто. Потребность свободы, развлеченія и знанія была удовлетворена.

Былъ впрочемъ одинъ педагогъ, вліяніе котораго сильно задѣло молодого Герцена. Это — Иванъ Евдокимовичъ Протопоповъ, преподаватель русской словесности, студентъ медицины. Волосы носилъ онъ ужасно длинные и вѣроятно никогда не чесалъ ихъ по выходѣ изъ рязанской эпархіальной семинаріи; на иностранныхъ словахъ ставилъ онъ дикія, совершенно произвольныя ударенія, а французскія щедро снабжалъ русскимъ ъ на концѣ. Но у него была теплая человѣческая душа и съ нимъ съ первымъ Герценъ сталъ

заниматься, хотя и не съ самаго начала. Пока дѣло шло о грамматикѣ, которая шла въ корню, и о географіи и ариѳметикѣ, которыя бѣжали на пристяжкѣ, Протопоповъ находилъ въ своемъ ученикѣ упорную лѣнь и разсѣянность, приводившую въ удивленіе самого Бушо, не удивлявшагося вообще ничему, кромѣ соборной церкви въ Мецѣ. Побившись и едва не дойдя до отчаянія, Протопоповъ рѣшился перемѣнить одну пристяжку, закончилъ кое-какъ географію и принялся за исторію по новому способу. Вмѣсто того чтобы задавать въ Шреккѣ до отмѣтки ногтемъ, онъ разсказывалъ своими словами, *что* помнилъ и *какъ* помнилъ; Герценъ долженъ былъ на другой день повторять ему и также своими словами, благодаря чему исторіей онъ сталъ заниматься съ величайшимъ прилежаніемъ. Протопоповъ удивился и, утомленный лѣнью ученика въ грамматикѣ, преспокойно положилъ ее въ сторону и, вмѣсто того чтобы разбираться въ безконечныхъ спорахъ между *ѣ* и *е*,—принялся за словесность.

«Но въ чемъ собственно состояло преподаваніе словесности Ивана Евдокимовича,— вспоминаетъ Герценъ,— мудрено сказать; это было какое-то отрицательное преподаваніе. Принимаясь за реторику,—онъ объявилъ мнѣ, что она пустѣйшая вѣтвь изъ всѣхъ вѣтвей и сучковъ древа познанія добра и зла, вовсе ненужная, ибо «кому Богъ не далъ способности красно говорить, того ни Квинтиліанъ, ни Цицеронъ не научатъ, а кому далъ, тотъ родился съ реторикой». Послѣ такого введенія онъ началъ по порядку толковать о фигурахъ, метафорахъ, хріяхъ. Потомъ онъ мнѣ предписалъ diurna manu nocturnaque переворачивать листы образцовыхъ сочиненій — гигантской хрестоматіи томовъ въ 12 и прибавилъ для поощренія, что десять строкъ «Кавказскаго Плѣнника» Пушкина лучше всѣхъ образцовыхъ сочиненій Муравьева, Капниста и пр. Не смотря на всю забавность отрицательнаго преподаванія, въ совокупности всего, что говорилъ Протопоповъ, проглядывалъ живой, широкій современный взглядъ на литературу, который я умѣлъ усвоить и, какъ обыкновенно дѣлаютъ послѣдователи, возвелъ въ квадратъ и кубъ всѣ односторонности учителя. Прежде я читалъ съ одинаковымъ удовольствіемъ все, что попадалось: трагедіи Сумарокова, сквернѣйшіе переводы 80-хъ годовъ разныхъ комедій и романовъ; теперь я сталъ выбирать, цѣнить. Протопоповъ былъ въ восторгѣ отъ новой литературы, и я, бравши книгу, справлялся тотчасъ, въ которомъ году она напечатана, и бросалъ ее, ежели она была напечатана болѣе 5-ти лѣтъ тому назадъ, хотя бы имя Державина и Карамзина предохраняло ее отъ такой дерзости. Зато поклоненіе юной литературѣ сдѣлалось безусловно, и не мудрено: великій Пушкинъ являлся властителемъ литературнаго движенія.»

III.

Дружба съ Огаревымъ.

Не помню, у кого вырвалось меланхолическое замѣчаніе: «изъ двухъ друзей одинъ всегда рабъ, другой — господинъ». Если что тутъ невѣрно, то развѣ слово «всегда», сама же по себѣ мысль глубока и въ сущности справедлива. Только греки умѣли быть равными въ дружбѣ, оттого-то они и ставили это чувство выше любви.

Касторы и Поллуксы въ наше время рѣдкость. Отношеній пріятельскихъ можно видѣть довольно, случаются и товарищескія, но дружба въ смыслѣ полнаго единенія или, какъ прежде выражались, «гармоніи душъ» замѣтно вымираетъ. Надо думать, что это слишкомъ нѣжное чувство для нашей дѣйствительности и не можетъ удержаться въ атмосферѣ, гдѣ себялюбіе на первомъ планѣ, гдѣ всякій цѣнитъ себя слишкомъ ужъ какъ-то высоко. Какъ и для всего хорошаго, для дружбы нужно извѣстное самоотреченіе, своего рода широта сердечной жизни, нужны и интересы, которыми можно было бы вдохновляться сообща. Всего этого мало, слишкомъ даже мало, и дружба вымираетъ. А жаль. Въ дружбѣ, хотя бы она длилась годы, есть всегда что-то юное и свѣжее: она не старѣется, не изнашивается. «Это вѣчно цвѣтущій богъ Греціи», — сказалъ когда-то Шиллеръ.

Герценъ и Огаревъ были друзьями. Они сошлись дѣтьми и только смерть разлучила ихъ. Но не трудно угадать, какой характеръ носила ихъ дружба и кто былъ господиномъ. Герценъ или не сходился съ человѣкомъ, или подчинялъ его себѣ всего, цѣликомъ, навсегда.

О взаимныхъ отношеніяхъ друзей, ихъ общей работѣ мнѣ придется говорить не разъ. Эта глава посвящена лишь всходамъ дружбы.

Отъ времени до времени Ивана Алексѣевича навѣщалъ его дальній родственникъ Платонъ Борисовичъ Огаревъ. Иногда онъ приводилъ съ собой своего сына, мальчика лѣтъ 13, котораго обыкновенно звали Никъ. Кроткій, тихій, онъ во все время посѣщенія сидѣлъ въ гостиной на стулѣ и разсѣянно смотрѣлъ на окружавшіе предметы своими печальными глазами. Онъ былъ ровесникомъ Герцена, и мальчики скоро сошлись, какъ настоящіе идеалисты, за чтеніемъ Шиллера.

«Читая, мы были удивлены сходствомъ нашихъ вкусовъ. Тѣ мѣста, которыя любилъ я, любилъ и Никъ, которыя зналъ наизусть я—зналъ и Никъ, только гораздо лучше меня. Непонятной силой влеклись мы другъ къ другу; сложили книги и стали высказывать другъ другу свои мысли, чувства, стремленія; стали высказывать самихъ себя. Все было общее»...

Не прошло и мѣсяца, какъ Герценъ привязался къ Нику со всей порывистостью своей горячей натуры и не могъ прожить дня, чтобы или не повидаться съ нимъ, или не написать къ нему письма. Никъ любилъ его тихо и глубоко; его чувство теплилось какъ лампада передъ образомъ, Герценъ на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ пылалъ костромъ.

«Мы были неразлучны; въ каждомъ воспоминаніи того времени, общемъ и частномъ, вездѣ на первомъ планѣ—онъ съ своими отроческими чертами, съ своею любовью ко мнѣ. Рано виднѣлось въ немъ то помазаніе, которое достается немногимъ, на бѣду ли, на счастье ли—не знаю, но навѣрное на то, чтобы не быть въ толпѣ.»

Они любили, забравшись вмѣстѣ въ дальнюю комнату, куда не проникалъ ироническій взглядъ отца, читать вмѣстѣ Шиллера, говорить и думать вслухъ по цѣлымъ часамъ. Иногда они ходили вмѣстѣ за городъ, гдѣ у нихъ были излюбленныя мѣста: поля за Дорогомиловской заставой, Воробьевы горы. Отсюда любовались они широкой панорамой Москвы, лежавшей у ихъ ногъ, яркимъ блескомъ золоченыхъ куполовъ на лучахъ восходящаго солнца; здѣсь читали наизусть свои излюбленные стихи. Разъ они запоздали на Воробьевыхъ горахъ вплоть до сумерекъ; солнце закатывалось, потопляя въ пурпурѣ громадный городъ. Они стояли на мѣстѣ закладки храма Христа Спасителя и въ восторгѣ вдохновенія взяли другъ друга за руки и въ виду Москвы дали клятву въ дружбѣ и

борьбѣ за истину. Огаревъ вспомнилъ потомъ эту минуту въ стихахъ:

Они дѣтьми встрѣчались часто,
И будущность вдали свѣтила имъ;
И создали они себѣ сонъ жизни золотой
И поклялись младыхъ сердецъ надежды
Осуществить урочною порой...

Осуществить урочною порой... Урочная пора не пришла... Пришлось сказать тому же Огареву на порогѣ могилы:

Да, сердце замерло!... быть можетъ даже намъ.
Иначе кончить бы почти что невозможно,
Такъ многое прошло по тощимъ суетамъ,
Успѣхъ былъ не великъ, а жизнь прошла тревожно.
Но я не сѣтую на строгія дѣла,
Мнѣ только силы жаль, что не достигла цѣли,
Иначе бы борьба побѣдою была,
И мы бы преданно надолго уцѣлѣли.

Что за натура былъ Огаревъ? Во имя чего онъ слѣдовалъ за Герценомъ, почти никому неизвѣстный, почти безъ славы, имѣя въ сердцѣ невыносимую тяготу личнаго горя? Во имя чего онъ, богачъ, роздалъ все и умеръ почти нищимъ? На эти вопросы мы должны отвѣтить немедленно.

Огаревъ родился въ богатой родовитой семьѣ въ 1812 или 13-мъ году.

«До семи лѣтъ дѣтство мое,—вспоминаетъ онъ,—было, быть можетъ, мило, но мало интересно, такъ что и разсказывать не хочется... Время около 1820 г. было странное время, время общественной разладицы, которая подвигалась медленно и не знала, куда придетъ. Большинство еще торжествовало побѣду надъ французами, меньшинство начинало вѣрить въ возможность переворота и собирало силы... Себя я помню въ это время ребенкомъ въ большомъ домѣ, въ Москвѣ, помню отца съ двумя крестами, помню бабушку большого роста и бабушку маленькаго. Помню старуху-няню съ повязаннымъ на головѣ платкомъ. Няня эта была при мнѣ неотлучно, почти до моего десятилѣтняго возраста. Такимъ образомъ все дѣтство мое прошло на попеченіи женскомъ. Няня меня любила, не смотря на то, что мужа ея отдали въ солдаты за какой-то проступокъ противъ барскихъ приказаній, а ее, какъ одинокую, приставили ко мнѣ. Кромѣ няньки, былъ приставленъ ко мнѣ еще и старый дядька. Должность его состояла въ томъ, чтобы забавлять меня игрушками и учить читать и писать. Ходилъ онъ всегда въ сѣромъ фракѣ. Я считалъ дядьку своимъ лучшимъ другомъ за то, что онъ дѣлалъ мнѣ отличныя игрушки. Не смотря на то, что онъ былъ крѣпостной человѣкъ, онъ былъ до того нравственненъ, что не сказалъ при мнѣ ни одного

грязнаго слова. Весь недостатокъ его состоялъ только въ томъ, что временами, подъ вечеръ, дядька бывалъ въ полъ-пьяна, и тогда на него нападала страсть доказывать моему отцу, что меня воспитываютъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Остановить старика не было возможности. Иногда случалось, что его настойчивыя разсужденія заканчивались трагически. Дядька уходилъ опечаленный, а я дрожалъ отъ страха и негодованія. Онъ вредилъ мнѣ лишь однимъ, совокупно со всей окружавшей меня жизнью,—безсмысленнымъ отношеніемъ къ религіи. Въ комнатѣ моей стоялъ огромный кіотъ съ образами въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ, передъ которыми отецъ мой приходилъ каждый вечеръ молиться, какъ только меня укладывали спать. Одна изъ бабушекъ то и дѣло разъѣзжала по монастырямъ и задавала пышные обѣды архіереямъ. Съ семилѣтняго возраста меня стали заставлять въ великій постъ говѣть. Я слезно каялся во грѣхахъ, которые, разумѣется, придумывалъ, и даже плакалъ отъ раскаянія въ своихъ небывалыхъ прегрѣшеніяхъ; каждое утро и каждый вечеръ безсознательно молился, клалъ земные поклоны передъ кіотомъ и усердно читалъ указанныя молитвы по толстому молитвеннику, ничего не понимая въ нихъ.

«Такъ какъ это настроеніе было безотчетно и искусственно, то оно скоро и растаяло подъ вліяніемъ чтенія Вольтера и Байрона, какъ только мнѣ дали ихъ въ руки, и мало по малу увлекло въ противоположную сторону. Когда мнѣ было около тринадцати лѣтъ, добраго дядьку моего услали на житье въ деревню, а ко мнѣ приставили руководителя-нѣмца, котораго я возненавидѣлъ съ первой минуты. Нѣмецъ этотъ, небольшой ростомъ, тщедушный, рябой, плѣшивый, съ золотистой накладкой на головѣ, считалъ себя неотразимо привлекательнымъ; онъ былъ мнѣ полезенъ только тѣмъ, что развилъ во мнѣ физическую силу, и я подъ его надзоромъ изъ болѣзненнаго мальчика вышелъ здоровымъ юношей. Помимо своей воли онъ имѣлъ однако сильное вліяніе на всю мою жизнь: онъ случайно сблизилъ меня съ меньшимъ сыномъ Ив. Алекс. Яковлева—Александромъ. Мы полюбили другъ друга и подружились на всегда.»

Двѣ натуры, два характера, не имѣвшіе между собой ничего общаго, кромѣ стремленія къ смутнымъ дѣтскимъ идеаламъ, сошлись на жизненномъ пути и прошли его весь отъ начала до конца рука въ руку. «Герценъ—это вѣчно дѣятельный европеецъ, живущій экспансивною жизнью, который принимаетъ идеалы съ тѣмъ, чтобы ихъ уяснить, развить, разбрасывать. Никъ—квіэтическая Азія, въ душѣ которой почила глубокая мысль, ей самой неясная». Герценъ—изъ типа Вольтеровъ, съ родственнымъ великому философу талантомъ; Огаревъ—изъ типа Руссо, безъ его генія, но съ той же глубиной чувства, тою же застѣнчивостью и еще болѣе искренній. Онъ никогда не доходилъ до злобы, проклятія; не знаю,—раздражался ли

онъ когда нибудь. Робкая, недѣятельная натура, онъ всякое горе запрятывалъ глубоко-глубоко въ сердцѣ и старался «всосать» его въ себя, но это плохо удавалось: тяжелая непроглядная тоска, сѣрая и неподвижная, какъ туманъ на болотѣ, грызла его безъ устали. Въ то время какъ обида или сознаніе несправедливости сейчасъ же принимали у Герцена форму протеста, когда онъ старался отмстить своему врагу, задавить его безъ всякаго состраданія, Огаревъ прощалъ и любилъ. Онъ кончилъ водкой, и его предсмертные стихи почти такъ-же страшны, какъ знаменитые «Къ сивухѣ» Полежаева.

Напиваясь влагой кроткой,
Напиваяся виномъ,
Напиваясь просто водкой,
Шелъ я жизненнымъ путемъ.
И сломалъ себѣ я ногу,
И хромающій поэтъ
Какъ-то дожилъ понемногу
До шестидесяти лѣтъ...

И шестидесятилѣтнимъ старикомъ, прикованный къ креслу, Огаревъ грустно смотрѣлъ на прошлую жизнь: борьба не была побѣдой...

У него былъ несомнѣнный поэтическій даръ, но даръ не живой, не дѣятельный, не энергичный—это какъ бы дремлющій богъ Египта, сфинксъ, непонимающій самъ своей тайны. Онъ чувствовалъ глубоко, до слезъ, до отчаянія и восторга, но голосъ его былъ слабъ, неблагозвученъ. Какъ застѣнчивый человѣкъ краснѣетъ и молчитъ передъ любимой женщиной, въ то время какъ его щеки пылаютъ отъ внутренняго огня, когда сердце бьется и трепещетъ, когда страстное слово просится наружу, чтобы прозвучать на весь міръ чуднымъ аккордомъ любви, преданности, преклоненія, когда грудь тѣснится отъ невысказаннаго чувства, чистаго какъ утренняя роса, могучаго какъ голосъ пророка... увы!—словъ нѣтъ, и Огаревъ не находитъ ихъ даже въ минуту творчества. Его талантъ былъ чуднымъ инструментомъ, но тайна его механизма осталась на вѣки тайной для самого Огарева. Читая его стихи, вы ежеминутно ждете, что вотъ, вотъ прозвучитъ что-то сильное и прекрасное,—но нѣтъ, безпомощность чувствуется уже въ ближайшей строчкѣ.

Къ вѣрѣ, и притомъ вѣрѣ религіозной, къ любви задушевной, полной преданности, самоотреченія, къ подвигамъ братства тянуло его постоянно. Жизнь отняла его вѣру и дважды растоптала его

любовь. Онъ всосалъ въ себя горе, но, Боже, сколько тоски оставило оно по себѣ...

Онъ самъ разсказалъ намъ, какъ формализмъ обстановки, земные поклоны, обѣды съ архіереями надломили его вѣру въ самомъ началѣ. Потомъ онъ любилъ. Его первая жена, Марья Львовна, съ которой Тургеневъ списалъ m-me Лаврецкую въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», красивая, изящная великосвѣтская барыня, вышла за него по разсчету. Между ними не было ничего общаго. Съ кружкомъ, который былъ для Огарева дороже всего въ жизни, она не сошлась и разссорилась даже съ Герценомъ. Огаревъ страдалъ молча, тихо, покорно: ни другомъ, ни женой пожертвовать онъ не могъ. Наконецъ жена бросила его, кружилась нѣсколько лѣтъ въ Парижѣ, въ то время какъ Огаревъ изнывалъ отъ тоски въ деревнѣ. Новая любовь освѣтила его жизнь. Въ Натальѣ Алексѣевнѣ Тучковой онъ нашелъ повидимому все, что искалъ, и прежде всего умъ. Она также привязалась къ нему, но ея привязанность была скорѣе привязанностью сестры, чѣмъ жены. Ей нуженъ былъ герой, чтобы страсть вспыхнула: другой и овладѣлъ ею по праву сильнѣйшаго. Послѣ этого не рана уже въ сердцѣ, а ракъ въ сердцѣ образовался у Огарева: жизнь его задребезжала, запрыгала, какъ плохо сколоченная телѣга, чтобы разсыпаться на первомъ косогорѣ. Вино сдѣлало свое дѣло.

Огаревъ былъ изъ обреченныхъ. Вся его жизнь пошла на другихъ, онъ отдавалъ все сердце цѣликомъ,—что получилъ онъ взамѣнъ? Уваженіе, дружбу. Но того, что ему было нужно, какъ вода для человѣка, какъ воздухъ для огня,—любви и ласки женщины, которая согрѣла бы его, пробудила бы своею страстью его дремлющія силы, его молчаливый талантъ, онъ не видѣлъ никогда. Единственный свѣтъ въ его жизнь вносила дружба Герцена. Эта дружба, вторгшись въ его молчаливое меланхолическое существованіе, властно перевернула его въ другое русло. Только съ Герценомъ Огаревъ отрѣшался отъ своей застѣнчивости, не покидавшей его даже въ спальнѣ жены; только съ нимъ умѣлъ онъ быть совершенно откровеннымъ и проявлять себя всего. Еслибы Герценъ былъ женщиной или мистикомъ, Огаревъ сталъ бы великимъ поэтомъ; еслибы Герцена не было совсѣмъ, Огаревъ пошелъ бы по дорогѣ Ивана Кирѣевскаго вплоть до Оптиной пустыни. Но судьба заставила его отдать всю свою жизнь политикѣ, удѣляя

немногія минуты на поэтическое творчество и на музыкальныя импровизаціи. За возможность быть самимъ собой, за возможность хотя иногда не только ощущать въ себѣ глубину, но и проявлять ее, Огаревъ и любилъ такъ сильно Герцена, любилъ какъ братъ, другъ и—зачѣмъ бояться слова?—какъ рабъ. Есть что то глубоко трогательное въ его привязанности, выдержавшей всѣ удары и всѣ испытанія вплоть до пожертвованія любимымъ существомъ. Онъ жилъ съ Герценомъ, думалъ какъ Герценъ и служилъ тѣмъ же цѣлямъ, которыя создавалъ его другъ. *Лучшія минуты его вдохновенія принадлежатъ товарищу. Въ немъ сила опоры, источникъ энергіи; его страстная рѣчь пробуждаетъ желаніе работать, бороться, и квіетическая Азія не даетъ меланхоліи совершенно завладѣть собой, не даетъ тоскѣ задавить себя*. Порою у меланхолика Огарева вырываются даже мужественные стихи—нечего и говорить подъ чьимъ вліяніемъ. Въ сонетѣ, посвященномъ Герцену, онъ говоритъ:

«О! Еслибъ ты подумать только могъ,
Что пробудилъ во мнѣ твой голосъ издалека,
Какъ вызвалъ тьму заглохнувшихъ тревогъ,
Какъ рану старую разбередилъ глубоко.
Въ испугѣ ты и съ воплемъ бы ко мнѣ
На шею кинулся, любя меня какъ прежде;
Но, свидясь вновь, мы въ скорбной тишинѣ
Уже не ввѣримся ребяческой надеждѣ.
Нѣтъ, проклятъ будетъ этотъ вѣкъ,
Гдѣ торжествуетъ все, что низко и лукаво,
И гдѣ себѣ хорошій человѣкъ
Страданья пріобрѣлъ убійственное право.
Но все-жъ впередъ!

IV.

Университетъ.

(1830—1833.)

Вмѣстѣ съ Огаревымъ Герценъ сталъ готовиться въ университетъ. Право это досталось ему не безъ борьбы. Иванъ Алексѣевичъ сначала и слышать не хотѣлъ «о какихъ-то тамъ университетахъ», но въ концѣ концовъ согласился. Чтобы чѣмъ нибудь утѣшить себя, старикъ позвалъ сына къ себѣ въ спальню и задалъ ему жесточайшій нагоняй, что всѣ и во всемъ ему перечатъ, что онъ только для того и называется главой дома, чтобы его никто не слушалъ, и т. д. Герценъ едва не прыгалъ отъ радости, выслушалъ всю нотацію съ самымъ почтительнымъ видомъ и, услышавъ заключительное: «ну, Богъ съ вами со всѣми», выскочилъ, какъ угорѣлый отъ радости. Ему было восемнадцать лѣтъ, старый домъ съ его капризнымъ режимомъ былъ ему тѣсенъ, потребность въ товариществѣ, въ одушевленныхъ спорахъ, въ гулѣ молодыхъ голосовъ чувствовалась все настойчивѣе. Правда, жизнь и въ старомъ домѣ была хороша, но впечатлѣнія его прискучили своимъ однообразіемъ, успѣли набить оскомину...

Я вошелъ... тѣ же комнаты были...
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ;
Мы бесѣды его не любили,
Насъ страшилъ его черствый языкъ...
Вотъ и комнатка,—съ другомъ, бывало,
Здѣсь мы жили умомъ и душой:
Много думъ золотыхъ возникало
Въ этой комнаткѣ прежней порой...
Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,
Въ ней остались слова на стѣнахъ:

Ихъ въ то время рука начертила,
Когда юность кипѣла въ сердцахъ.
Въ этой комнаткѣ счастье былое...
Дружба свѣтлая выросла тамъ...

Да, много было хорошаго въ старомъ угрюмомъ домѣ, но юность просилась въ иную обстановку, на ширь и просторъ, искала науки, вліянія, дѣла, и все это думала найти въ университетскихъ стѣнахъ. Рѣдко кто въ наши дни подходитъ къ «святилищу науки» съ тѣми чувствами и мыслями, съ тѣми неясными надеждами, смутными, но хорошими ожиданіями, съ какими подходили къ нему Огаревъ и Герценъ слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ...

Друзья легко выдержали вступительный экзаменъ и явились домой студентами физико-математическаго отдѣленія. Въ душѣ они, разумѣется, считали себя совсѣмъ большими и совсѣмъ свободными, но освободиться отъ отеческой ферулы было не такъ то легко.

«Замѣчателенъ,—разсказываетъ Пассекъ,—былъ отпускъ Саши на первую лекцію. Карлу Ивановичу Зонненбергу поручалось сопровождать его. Передъ отпускомъ Иванъ Алексѣевичъ давалъ ему наставленія, какъ бережно доставить «Шушку» въ школу (подъ школой слѣдовало подразумѣвать университетъ) и обратно домой; предписывалось лично присутствовать на лекціи, смотрѣть, чтобы Шушка, уѣзжая изъ школы, садясь въ санки, былъ закутанъ, а то-де онъ, пожалуй, думая, что теперь студентъ,—шапку на бекрень, шубу на одно плечо. Зонненбергъ, проникнутый достоинствомъ роли ментора, почтительно слушая, рисовался передъ Иваномъ Алексѣевичемъ, шаркалъ и съ видомъ человѣка, готоваго постоять за себя и за другихъ, закладывалъ ногу за ногу. Саша торопился уѣхать, глаза его горѣли радостью освобождающагося плѣнника и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выходилъ изъ себя съ досады на распоряженія, которыя дѣлались относительно его.

«Мы проводили ихъ до передней, потомъ смотрѣли изъ окна, какъ они выѣзжали со двора, оберегаемые сидѣвшимъ на облучкѣ, рядомъ съ кучеромъ, камердинеромъ Саши, Петромъ Ѳедоровичемъ; они, торжественно улыбаясь, кланялись намъ изъ широкихъ саней, застегнутые медвѣжьей полостью.»

Зонненбергъ сопровождалъ Герцена въ школу и присутствовалъ на лекціяхъ, въ качествѣ ментора, около трехъ мѣсяцевъ; а Петръ Ѳедоровичъ (лакей) сопровождалъ и оберегалъ его впродолженіе всего курса, втеченіе котораго передружился со всѣми университетскими солдатами, узналъ имена всѣхъ профессоровъ и студентовъ физико-математическаго факультета и зналъ, по какимъ днямъ какія лекціи читаются.

«Началась университетская жизнь. Жизнь эта, — разсказывалъ томъ Герценъ,—оставила у насъ память одного продолжительнаго ира идей, пира науки и мечтаній, непрерывнаго, торжественнаго, ногда бурнаго, иногда мрачнаго, разгульнаго, но никогда порочнаго.»

«Оживить это прошедшее время, сдѣлать его вполнѣ понятнымъ разсказѣ—невозможно; чтобы вспомнить всѣ мечты, всѣ увлеченія, надо очень много не знать, очень многаго не испытать, надобно резабыть бездну фактовъ, стереть съ души бездну пыли, соскоблить пятна, заживить рубцы, освѣтить весь міръ алымъ свѣтомъ восхода, всѣмъ предметамъ дать положительныя тѣни, утреннюю свѣжесть и разительную новость. Мало того, надо, чтобы друзья юности обрались вмѣстѣ въ той же комнаткѣ, обитой алыми обоями съ золотыми полосками, передъ тѣмъ-же мраморнымъ каминомъ, въ томъ е дыму отъ трубокъ»...

Герценъ правъ: оживить того времени невозможно; оно слишомъ пылко, юно, неопредѣленно. Прелесть его не въ немъ самомъ, въ тѣхъ, кто его переживалъ, кто чувствовалъ въ себѣ присутвіе всемогущаго Бога юности, чьи непочатыя силы, горячее воображеніе, волнующаяся кровь преображали маленькій, скромный, очти опальный университетъ, выкрашенный въ одну краску съ азармами, въ святилище науки, въ центръ мысли, откуда должны литься свѣтъ и счастье на всю бѣдную родину.

Когда Герцену сказали, что какъ разъ надъ той комнатой, гдѣ обирались друзья юности, портной повѣсилъ свою скучную прозаическую вывѣску, онъ замѣтилъ шутя: «я увѣренъ, что, если существуютъ духовные міазмы, этотъ портной шьетъ *мечтательные* раки, *энциклопедическіе* жилеты и *фантастическіе* сюртуки»... а, мечты, энциклопедія, фантазія, гуманизмъ, страстная жажда все ередѣлать, все пересоздать однимъ порывомъ взволнованной юности—вотъ они университетскіе прежніе годы, оставлявшіе въ чеовѣкѣ свою закваску на всю жизнь...

Друзья проповѣдывали. Что?... — трудно сказать. Идеи были мутны, общества въ сущности не было, но пропаганда пускала лубокіе корни во всѣ факультеты и переходила въ стѣны университета. Возбужденная мысль требовала исхода, пробудившіеся вопросы—разрѣшенія. Молодежь распадалась на кружки—философкіе и политическіе, смотря по темпераменту участниковъ. Но рѣзко азличіе проявилось лишь впослѣдствіи.

На первомъ планѣ надо поставить кружокъ Станкевича.

Станкевичъ жилъ у профессора Павлова. По вечерамъ друзья со-

бирались въ его скромной квартирѣ, и здѣсь велись оживленныя бесѣды о чувствѣ изящнаго, о любви, дружбѣ, прекрасномъ. Здѣсь Красовъ разсказывалъ свои встрѣчи съ неземными существами, здѣсь Станкевичъ читалъ своимъ товарищамъ, не знавшимъ еще нѣмецкаго языка, какъ напр. Бѣлинскому, своихъ любимыхъ нѣмецкихъ поэтовъ — Шиллера, Гёте, Гофмана. Изъ русскихъ же писателей друзья зачитывались Пушкинымъ и Жуковскимъ и лишь впослѣдствіи Лермонтовымъ и Гоголемъ. Въ это время въ кружкѣ Станкевича Шиллеръ преобладалъ еще надъ Гёте, но болѣе всего друзья увлекались Гофманомъ. Мечтатель-фантазеръ, который не могъ заговорить объ искусствѣ равнодушно, и если касался этого предмета, то не иначе изображалъ его, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескѣ и въ сверхъестественныхъ фантастическихъ размѣрахъ... Такой писатель былъ какъ нельзя болѣе подъ-стать юнымъ мечтателямъ и поклонникамъ искусства, исполненнымъ преданностью къ прекрасному до фанатизма.

Кружокъ Станкевича, какъ и его глава, отличался замѣчательнымъ цѣломудріемъ. «Здѣсь—говоритъ Анненковъ—жизнь шла трезво и бодро и, благодаря своему главѣ, носила рѣдкій отпечатокъ скромности. Несмотря на природную веселость Станкевича, было что то умѣренное и деликатное въ его шуткѣ, подобно тому какъ мысль его отличалась истиннымъ цѣломудріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это конечно держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ его кругъ, въ одномъ общемъ настроеніи и на одинаковой нравственной высотѣ».

Ахъ, что такое жизнь?.. Какая череда
Создать меня съ сознаніемъ могла?

таковъ былъ основной вопросъ кружка высоконастроенныхъ юношей. «Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель, Станкевичъ естественно долженъ былъ болѣе любить отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе; его артистическій идеализмъ ему шелъ: это былъ «побѣдный вѣнокъ, выступавшій на блѣдномъ предсмертномъ челѣ юноши».

Совершенно другое—кружокъ Герцена. Здѣсь на первомъ планѣ «вопросы жизненные и чисто практическіе», здѣсь С.-Симонъ вмѣстѣ Гофмана, Новое Евангеліе, религія человѣчества, здѣсь политическое и нравственное мышленіе преобладаетъ надъ мышленіемъ религіозно-эстетическимъ, Шиллеръ и Гёте пользуются громаднымъ уваж

іемъ, но героями являются не литераторы и художники, а декаристы и люди науки; крѣпостное право поставлено на судъ передъ ицомъ сенъ-симонизма.

Какъ въ этотъ періодъ, такъ и послѣ, С.-Симонъ являлся для ерцена духовнымъ вождемъ и подъ его-то вліяніемъ складывается міросозерцаніе будущаго автора «Съ того берега». Герценъ вчитывался «Параболой»—этой странной книгой, полной парадоковъ, несообразностей и вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнной глубины и воеобразной практичности. То, что мы называемъ экономическимъ атеріализмомъ, ведетъ свое происхожденіе въ сущности отсюда. енъ-Симонъ первый провозгласилъ, что наука и промышленность, рудъ и знаніе, а не что нибудь другое, являются основами совреенности, что они питаютъ общественную жизнь, опредѣляютъ ея огатство и бѣдность, счастье и несчастье отдѣльныхъ людей. Къ аукѣ онъ относился съ чисто религіознымъ уваженіемъ: онъ ставитъ Ньютона выше пророковъ, «Principia» — выше Библіи. Онъ ребовалъ, чтобы государство обезпечивало ученыхъ и дало имъ ту ласть, то значеніе, которымъ пользуются государи и министры. раздникъ въ честь Ньютона долженъ былъ сдѣлаться праздникомъ сего человѣчества. Прибавьте къ этому рѣзкія выходки противъ ристократіи и духовенства, требованіе, чтобы жизнь служила поезному, а не мистическому, чтобы всякій пользовался уваженіемъ занималъ мѣсто сообразно своимъ дѣламъ и заслугамъ передъ обществомъ,—прибавьте рѣзкій языкъ, раздраженную фантазію, неоддѣльную ненависть, тонъ пророка, иронію искренней злобы, и ы поймете, почему горячій, обуреваемый жаждой дѣятельности ерценъ такъ увлекся сенъ-симонизмомъ, несмотря на его парадоксы очевидныя несообразности. «Есть, говоритъ онъ самъ, границы, а которыя человѣкъ переступить не можетъ, — это границы фиіологическія». И если кто хочетъ понять, что заставило Герцена акъ рано заинтересоваться политикой, тотъ долженъ прежде всего зучить его темпераментъ—эту физіологическую границу всей его ѣятельности.

Такъ рядомъ, но въ нѣкоторомъ духовномъ отдаленіи другъ отъ руга, существовали различные кружки.

Велика была ихъ роль въ свое время.

«Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала ежду нѣсколькими мальчиками, только что вышедшими изъ дѣтства. ъ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки.

«Это были зародыши исторіи, незамѣтные, какъ зародыши вообще, слабые, ничтожные, ничѣмъ не поддерживаемые, они легко могли бы погибнуть безъ слѣда, но они остаются, а если и умираютъ на полдорогѣ, то не все умираетъ съ ними.

«Мало-по-малу зародыши развиваются, растутъ; изъ нихъ составляются группы. Болѣе родственныя группы собираются около своихъ средоточій, другія отталкиваютъ другъ друга. Это расчлененіе даетъ имъ ширь и возможность многосторонняго развитія; распустившіяся вѣтви соединяются,—какъ бы онѣ ни назывались, кружкомъ Станкевича, славянофиловъ, западниковъ, — главная черта ихъ глубокое чувство отчужденія отъ среды ихъ окружающей, стремленіе выйти изъ нея.

«Возраженіе, что эти кружки представляютъ явленіе исключительное, постороннее, безсвязное, что воспитаніе большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скорѣе выражаютъ переводъ на русское французскихъ и нѣмецкихъ идей, чѣмъ что нибудь свое,—неосновательно.

«Люди вообще трудно отрѣшаются отъ своего наслѣдственнаго склада, — физіологическій предѣлъ нельзя перейти, для этого надо исключить слѣды колыбельныхъ пѣсенъ, родныхъ, полей, горъ, обычаевъ и всего окружающаго строя.

«Если аристократы прошлаго вѣка, пренебрегая всѣмъ русскимъ, въ самомъ дѣлѣ оставались русскими, то тѣмъ больше русскаго характера не могло утратиться у молодыхъ людей оттого, что они занимались науками по французскимъ и нѣмецкимъ книгамъ.

«Нравственный уровень общества палъ, развитіе было прервано александровское поколѣніе заняло первое мѣсто. Мало-по-малу оно утратило дикую поэзію кутежей, барства, храбрости; они служили и выслуживались, но это были не сановники.

«Время ихъ прошло.

«Подъ этимъ большимъ свѣтомъ безучастно молчалъ большой міръ народа, для него ничто не перемѣнилось — ему было не хуже не лучше прежняго. Его время не пришло.

«Между этой основой юноши, почти дѣти, первые приподняли голову, можетъ быть не подозрѣвая, какъ это опасно; этими дѣтьми Россія частью начала приходить въ себя.

«Ихъ вниманіе остановило противорѣчіе ученія съ жизнью. Учителя, книги, университетъ говорили одно—это было понятно уму сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда — другое, съ чѣмъ согласны власти и денежныя выгоды. Противорѣчіе воспитанія с нравами доходило до громадныхъ размѣровъ.

«Число воспитывавшихся было мало; но и тѣ получали не то чтобы объемистое воспитаніе, а довольно общее и гуманное: оно очеловѣчивало учениковъ всякій разъ, когда принималось. А человѣку то именно было не нужно. Приходилось или снова расчеловѣчиться-такъ толпа и дѣлала,—или пріостановиться и спросить себя: «Для надобно ли непремѣнно служить?». Для большинства наставало пра

ное существованіе въ отставкѣ, деревенской лѣни, халата, странностей, картъ, вина. Для другихъ время внутренней работы. Жить въ нравственномъ разладѣ съ собой они не могли. Возбужденная мысль требовала выхода. Разрѣшеніе разныхъ вопросовъ мучило молодое поколѣніе и обусловливало распаденіе его на разные круги!»

* * *

Я уже сказалъ, что Герценъ и Огаревъ поступили на физико-математическій факультетъ, но ни физикой, ни математикой ихъ особенно не обременяли, въ модѣ было другое — натурфилософія, шеллингизмъ. Во главѣ профессоровъ стоялъ знаменитый тогда Павловъ. Вмѣсто физики и сельскаго хозяйства онъ преподавалъ введеніе въ философію. Физикѣ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству—невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго факультета и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?». Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая въ университетъ, совершенно лишена философскаго приготовленія; одни семинаристы имѣютъ понятіе о философіи, зато совершенно превратное. Отвѣтомъ на эти вопросы Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена, съ такою пластическою ясностью, которую никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ. Если онъ не во всемъ достигъ прозрачности, то это не его вина, а вина мутнаго шеллингова ученія.

Шеллингъ и Гегель—эти герои философско-романтическаго движенія—долго, больше десяти лѣтъ, держали въ своей строгой желѣзной дисциплинѣ русскую мысль. Они перевоспитали ее и въ сущности привели къ самосознанію. Они заставили ее пересмотрѣть все то, чѣмъ она жила, во что вѣрила, къ чему стремилась: только подъ руководствомъ этихъ строгихъ суровыхъ учителей достигла она зрѣлости и вмѣсто мечтаній переходитъ къ изученію.

Павлову вторилъ Максимовичъ, читавшій органографію растеній, гдѣ не было органографіи, но было очень много философствованія «de omnibus rebus quibusdam que aliis». Остальные профессора естественныхъ наукъ съ ожесточеніемъ пользовались каждымъ случаемъ съострить надъ натуръ-философіей и бросить смѣшное на преподаваніе физики. Съ своей стороны и Павловъ не оставался въ долгу и платилъ имъ съ процентами и «рекамбіями». Такимъ обра-

зомъ преподаваніе на физико-математическомъ отдѣленіи было чисто полемическое. На эти полемическія лекціи студенты стекались со всѣхъ отдѣленій. «Разумѣется,—говоритъ Герценъ,—я ратовалъ подъ знаменемъ «Idealistische Lehre» и рѣзался съ нападавшими на него профессорами».

Этотъ полемическій и философскій элементъ и былъ тѣмъ началомъ, которое давало жизнь преподаванію на физико-математическомъ факультетѣ. Благодаря ему, все связывалось и объединялось; Шеллингъ былъ тѣмъ же цементомъ различныхъ органографій, тѣмъ же оплодотворяющимъ началомъ сухихъ лекцій, какимъ въ настоящее время является Дарвинъ. О научности же преподаванія мало заботились сами профессора, еще меньше студенты, особенно такія юныя горячія головы, какъ Герценъ.

Съ перваго же своего шага въ университетѣ онъ отдался товариществу. Въ его средѣ нашелъ онъ многостороннее поприще, чтобы проявились всѣ изгибы своей души; тутъ нашелъ онъ жизнь, совершенно свойственную своему нраву, фантазіямъ и убѣжденіямъ. Вскорѣ, благодаря своему краснорѣчію, остроумію, искренности, онъ занялъ первое мѣсто въ аудиторіи естественныхъ наукъ и послѣднее въ обществѣ «естествоиспытателей», гдѣ считался не болѣе какъ élève de société—свѣтскимъ юношей, любителемъ просвѣщенія и признаннымъ диллетантомъ. Мало-по-малу онъ сталъ студентомъ съ вѣсомъ и шагнулъ въ ряды высшей «боевой» аристократіи аудиторіи. Занявши мѣсто въ первыхъ рядахъ, онъ съ наслажденіемъ пользовался властью, вліяніемъ и славой въ многочисленной товарищеской средѣ. Исторія съ профессоромъ Маловымъ поставила его еще выше; Герценъ отсидѣлъ недѣлю въ карцерѣ и пріобрѣлъ репутацію героя. Маловъ, грубо обращавшійся съ студентами и тѣмъ вызвавшій инцидентъ, былъ окончательно посрамленъ.

Первый арестъ прошелъ очень весело. Нравы тогда были совсѣмъ патріархальные.

«Какъ только наступала ночь,—разсказываетъ Герценъ,—Никъ и еще четверо товарищей съ помощью четвертаковъ и полтинниковъ являлись къ намъ; у кого въ карманѣ ликеръ au quatre fruits, у кого паштетъ, у кого рябчики, у кого подъ шинелью бутылка клико. Разумѣется, мы встрѣчали съ восторгомъ и друзей, и ихъ съѣстные знаки дружбы. Свѣчей зажигать намъ, заключеннымъ, не позволялось. Опрокинувши стулья, мы дѣлали около нихъ юргу изъ шинелей, высѣкали огонь, зажигали принесенную сальную свѣчу и ста-

вили ее подъ столъ такимъ образомъ, чтобы изъ оконъ нельзя было ее видѣть, потомъ ложились на каменный полъ и начинался пиръ до поздняго вечера, тутъ, кажется, и засыпали, а ночью—опять пиръ. И такъ всѣ семь дней»...

Юность товарищества уравнивала дороги. Жизнь катилась какъ на рессорахъ. Позднѣйшія поколѣнія встрѣтили другую обстановку, другіе нравы. А въ то время, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, характеръ Московскаго университета былъ въ значительной степени патріархальный. Начальство обращало на него не слишкомъ большое вниманіе, лекціи читались и не читались. Казарменнаго не было ничего: большинство профессоровъ говорили студентамъ «ты» и охотно вступали съ ними въ пререканія. Даже внѣшность наблюдалась плохо. Профессора и студенты по уставу носили вицъ-мундиры съ малиновыми воротниками и гербовыми пуговицами; въ торжественные дни имъ полагалась шпага и треуголка. Несмотря на несомнѣнное присутствіе карцера въ подвальномъ этажѣ, уставъ былъ мертвой буквой. Многіе студенты ходили на лекціи, въ чемъ и какъ хотѣли: на иныхъ виднѣлись эксцентрическія платья, волосы чуть не до плечъ, прикрытые крошечными фуражками, едва державшимися на юныхъ головахъ. На шеяхъ пестрѣли разноцвѣтные шарфы. Въ сумерки студенты шеренгами прохаживались по Тверскому бульвару съ такимъ рѣшительнымъ, вызывающимъ видомъ, что гуляющіе давали имъ дорогу.

Кипятиться, ораторствовать, волноваться — была полная возможность,—все равно о чемъ—философіи, политикѣ, литературѣ. Въ философіи—Шеллингъ, въ политикѣ — декабристы, въ литературѣ—Полевой и его журналъ, Одоевскій, Пушкинъ,—все это требовало обсужденія со стороны восемнадцатилѣтнихъ юношей, «несомнѣнно и очевидно» призванныхъ разрѣшить *всѣ* вопросы и облагодѣтельствовать *все* человѣчество. И шла жизнь «не быліе травное», а веселая, бойкая, энергичная, — вѣчный пиръ молодости, вѣчные восторги.

V.

Послѣ университета.

Въ іюлѣ 1833 г. Герценъ сдалъ экзаменъ на кандидата и написалъ диссертацію объ историческомъ развитіи Коперниковой системы. За диссертацію ему назначили не золотую, а серебряную медаль, такъ какъ въ ней было очень много философіи и очень мало формулъ; Герценъ обидѣлся и на актъ не пошелъ.

«Когда я,—пишетъ онъ въ это время,—по чугунной лѣстницѣ университета выходилъ кандидатомъ и съ тѣмъ вмѣстѣ изъ школы на божій свѣтъ, тогда иначе взглянулъ на все. Чувство самобытности и совершеннолѣтія никогда не бываетъ такъ ярко, какъ въ минуту окончанія публичнаго воспитанія. Испанскіе башмаки, шнуровавшіе душу, лопаются, и фантазія гуляетъ на свободѣ. Нѣтъ болѣе ни правилъ, ни направленія извнѣ—это медовый мѣсяцъ совершеннолѣтія. Съ чувствомъ собственнаго достоинства и достоинства кандидатской степени я явился домой и посвятилъ Нептуну мокрое платье, въ которомъ плавалъ три года по схоластическому болоту на ловлю идей, т. е., говоря презрѣнной прозой, подарилъ первогодичнымъ студентамъ толстыя тетради лекцій, выучившія меня стенографіи и разучившія писать удобочитаемо.»

Онъ уже любилъ въ это время, любилъ горячо, искренне, на вѣки—какъ думалъ самъ,—слишкомъ ненадолго, какъ оказалось въ дѣйствительности.

«Любовь моя была односторонняя—разсказываетъ онъ—и отчасти натянута; тогда я этого не замѣчалъ. Чиста была эта любовь, какъ ясное майское небо, свѣтлой рѣчкой катилась она по зеленому полю надежды, только иногда волновалась, вспоминая о молодомъ человѣкѣ, бывшемъ *ея* женихѣ, и тѣмъ, что онъ скоро былъ забытъ. Я отыскивалъ въ своей душѣ давно забытыя страницы сантиментальности, принаряжалъ ими душу, отчасти это чувствовалъ и къ сантиментальности присоединялъ всѣ мои либеральныя мечтанія. Я говорилъ *ей* и говорилъ отъ души, что за осуществленіе моихъ поли-

тическихъ убѣжденій пожертвую моею любовью, пожертвую ею, и вполнѣ вѣрилъ въ истинность и неизмѣнность этихъ словъ, такъ, какъ и чувствовалъ.»

Бываютъ баловни судьбы, бываютъ люди, заставляющіе у другихъ звучать струну самоотреченія, — звучать долго, сильно, на всю жизнь. Таковъ былъ и Герценъ: онъ всегда былъ окруженъ колѣнопреклоненными—другомъ, женой, любимой женщиной. И въ этомъ колѣнопреклоненіи и другъ, и жена, и любимая женщина находили свое лучшее счастье, свою радость бытія. Ихъ муки начинались только тогда, когда ихъ жертвы становились уже ненужными и они сознавали это. Тогда ихъ жизнь теряла смыслъ и цѣль. Ихъ чувство было лишь лавровымъ листкомъ, украшавшимъ голову побѣдителя, однимъ листкомъ среди вѣнка...

Спустя много лѣтъ Герценъ, вспоминая о своей первой любви, говорилъ, что она ему мила, какъ память прогулки по берегу моря среди цвѣтовъ и пѣсенъ. Онъ сравнивалъ ее съ ландышемъ и спрашивалъ: «когда же ландыши зимуютъ; они должны увянуть вмѣстѣ съ весной, которая породила ихъ». Для него первая любовь была сномъ въ майскую ночь, для нея—всѣмъ. Съ разбитой жизнью она тихо догорала, отдавшись одной религіи. Когда она узнала, что онъ женатъ, ни жалобы, ни укора не вырвалось у нея; только смертная блѣдность распространилась по лицу; все горе, все страданье безмолвно замкнулось въ ея груди и навсегда. Съ той минуты она и имени его не произносила, какъ будто его и не существовало никогда. Впослѣдствіи ей не разъ дѣлали предложенія—она отказывала всѣмъ. Она осталась вѣрна воспоминанію и чувству и не хотѣла убирать свѣжими цвѣтами свое увядшее сердце...

Тяжелыя событія отвратили Герцена отъ одного чувства и породили новое—болѣе мощное, охватывающее. Въ 1834 году Огаревъ былъ арестованъ, обвиненный въ сношеніяхъ съ кружкомъ молодыхъ кутилъ, пѣвшихъ въ недобрый часъ противоправительственныя пѣсни. Герценъ метался по городу, добиваясь свиданія съ другомъ и самъ ожидая ареста. Арестъ не заставилъ себя долго ждать, но сначала случилась встрѣча, опредѣлившая цѣлую полосу въ его развитіи...

19-го іюля вся Москва ѣхала на скачки и гулянье, на Ходынское поле. Отправился туда и Герценъ, чтобы какъ нибудь убить время. Насколько занимали его скачки—понять легко. Онъ стоялъ

одиноко и смотрѣлъ на толпу, сѣвшую какъ туча саранчи на поле, на кареты, которыя двигались между саранчей, и былъ очень грустенъ. Встрѣчавшіеся знакомые заговаривали съ нимъ о скакунахъ и, видя, что онъ разстроенъ, отходили. Онъ молилъ Бога ни съ кѣмъ не встрѣтиться и вдругъ увидѣлъ въ каретѣ свою двоюродную сестру—Наталью Александровну. Она подозвала его и стала разговаривать въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ знакомства.

«Я прежде судилъ о ней,—говаривалъ впослѣдствіи Герценъ,—не понимая ея; огромное разстояніе дѣлило меня, студента-карбонара, отъ нея, религіозной, а между тѣмъ мы шли безсознательно къ одному и тому же міру, только съ разныхъ сторонъ. Религія чувствомъ поднимаетъ до созерцанія тѣхъ истинъ, до которыхъ разумъ доходитъ труднымъ путемъ,—сверхъ того она кладетъ печать божественности на чело и не допускаетъ короткости. Наташа мало знала свѣтъ и высшей цѣлью ставила стѣны монастыря, чтобы, какъ стихъ псалма, какъ аккордъ ораторіи, горячей молитвой вознестись на небо.»

«Я не могъ вполнѣ оцѣнить ее прежде, — продолжалъ онъ, — увлеченный, разсѣянный страстями, друзьями, науками, планами, оргіями, влюбленный. Въ этотъ же день душа, взволнованная несчастіемъ, взглянула другимъ взглядомъ—взглядомъ магнетизма.»

Скачки кончились. Они шли пѣшкомъ къ кладбищу. Первое, что открылось, былъ позлащенный шпицъ высокой колокольни приходской церкви Николая. Переполненная душа Герцена вылилась *черствымъ словомъ*.

— И эта колокольня ничего не говоритъ больше вашему сердцу? посмотрите, куда она указываетъ,—сказала Наташа,—тамъ утѣшатся всѣ скорби!

— Тамъ,—отвѣчалъ Герценъ,—а здѣсь имѣть душу, полную силъ, желаній добра, и быть не въ состояніи что-нибудь выполнить!

— Развѣ въ этомъ его вина. Отъ этого душа его не менѣе передъ Богомъ. Кто живетъ въ Богѣ, того сковать нельзя, сказалъ великій страдалецъ, снесшій голову на плаху—апостолъ Павелъ.

Въ другое время Герценъ улыбнулся бы, а тутъ онъ не улыбнулся, однако возразилъ:

— Вы все ссылаетесь на тотъ свѣтъ, а здѣсь мой другъ, за любовь къ людямъ, гибнетъ неоцѣненный, неузнанный. Апостолъ Павелъ снесъ голову на плаху тогда, когда обратилъ цѣлыя страны въ вѣру Христа.

— Неужели вы это говорите о рукоплесканіяхъ? Сейчасъ мы

видѣли, какъ ихъ расточаютъ лошадямъ. Одни подвенщики требуютъ награды.

Разговоръ скоро оборвался на полусловѣ, а новыя мысли, новыя чувства закипѣли и заволновались въ душѣ. Странно, но вѣрно, что иногда бываетъ достаточно одного ничтожнаго повидимому толчка, чтобы вызвать на поверхность души таящіяся въ ней, неизвѣстныя самому человѣку чувства. Герценъ услышалъ давно забытое имъ слово: «молитесь»,—услышалъ отъ молодой, но серьезной не по лѣтамъ дѣвушки, много вынесшей на своемъ юномъ вѣку. Душа запросила вѣры; одиночество тюрьмы, скука ссылки закрѣпили ее. Вмѣстѣ съ вѣрой пришла и любовь...

* * *

Герцена арестовали въ ночь на 20-е іюля. Отецъ съ дрожащей нижней челюстью благословилъ сына на трудное испытаніе. 10 мѣсяцевъ длилось слѣдствіе, а значитъ и одиночное заключеніе. Однообразныя унылыя впечатлѣнія каземата дѣлали напряженной внутреннюю жизнь. Крошечное сѣмя, заброшенное въ душу на кладбищѣ и унесенное, быть можетъ, на свободѣ вихремъ занятій, развлеченій, пустило ростки, зазеленѣло сначала, расцвѣло потомъ...

За что арестовали Герцена? Это скучная исторія. Огаревъ былъ арестованъ за знакомство съ пріятелемъ Соколовскаго, Соколовскій — за то, что сочинилъ вольную пѣсню, Герценъ—за дружбу съ Огаревымъ. Пѣсня была, разумѣется, только предлогомъ. Настоящей причиной были опасенія, которыя возбуждалъ кружокъ своими слишкомъ громкими и страстными рѣчами. Вѣдь кружокъ не распадался и послѣ университета: онъ шумѣлъ и кипѣлъ попрежнему...

Вплоть до апрѣля Герценъ просидѣлъ въ крутицкихъ казармахъ. Онъ мечталъ и любилъ, любовь и юность разукрасили самый казематъ.

«Однажды—разсказываетъ онъ—часовъ въ 8 вечера навѣстилъ меня нѣкогда бывшій мой законоучитель — отецъ Василій; онъ уже не одинъ разъ былъ у меня, и бесѣда его всякій разъ оставляла въ душѣ свѣтлый слѣдъ. Я обнялъ почтеннаго пастыря. Когда онъ давалъ мнѣ уроки, я не умѣлъ оцѣнить вполнѣ этого человѣка, съ его восторженной, чистой душой. Что то безпредѣльно торжественное было въ бесѣдѣ нашей: плавнымъ, величественнымъ maestoso закончилась она: благословеніе пастыря, объятія друга напутствовали меня. Въ эти минуты я былъ достоинъ принять высокія впечатлѣ-

нія. Возбужденная душа раскрывалась всему святому. Взоръ мой покоился на двери, въ которую вышелъ священникъ.

«Дверь снова отворилась. Видали ли вы на образахъ явленіе дѣвы Маріи, въ какой нибудь бѣдной кельѣ, изнеможенному старцу монаху, во всемъ блескѣ просвѣтленнаго образа человѣческаго, въ которомъ плоти едва осталось очертаніе, а духъ божественности просвѣчиваетъ въ своей безтѣлесности? видали ль взоръ любви и кротости, обращенный на поверженнаго въ прахъ угодника? и его взоръ, свѣтящійся восторгомъ и благоговѣйнымъ трепетомъ? Я былъ тотъ, которому явилась Дѣва... молча протянула она мнѣ руку, я быстро схватилъ ее...

... Не такъ ли умираетъ человѣкъ? Посланникъ божій, свѣтлый, улыбающійся, подойдетъ къ страдальцу, протянетъ руку, и тѣло мертво, а душа родилась въ царство духа и свободы. Какъ ясно стало въ душѣ моей, когда я держалъ ея руку; казалось, не о чемъ было и говорить, а когда стали говорить, говорили такъ, ничтожныя вещи. Разлука укрѣпила нашу симпатію, дала возможность придти въ себя, въ сознаніе, превратиться въ сущность жизни, въ самую жизнь. Только тогда пало нѣсколько словъ, которыя носятъ въ зародышѣ міръ чувствованій, мыслей, дѣлъ. «Братъ,—сказала она прощаясь,—въ дальнемъ краѣ помни, что твоя память о ней ей такъ необходима, какъ жизнь». Мы простились. Время опустило мечъ свой.»

Герценъ какъ и прежде оставался съ глазу на глазъ съ своимъ сторожемъ Терентьичемъ, отставнымъ солдатомъ. Но день свободы былъ уже близокъ—по крайней мѣрѣ той свободы, которую можетъ дать ссылка. Ссылка грозила неминуемо, Герценъ это зналъ, но не сдѣлалъ ничего, чтобы предотвратить ее. На допросахъ онъ держалъ себя гордо и независимо и произвелъ на своихъ судей впечатлѣніе нераскаяннаго грѣшника. За это-то главнымъ образомъ онъ и долженъ былъ отправиться въ Пермь.

Настало 10-е апрѣля. Въ жизни Герцена это былъ день, создающій собой эпоху. Всей его важности онъ и самъ не понималъ сначала. Молодость, вѣра въ себя и свои силы разукрасили ожидавшуюся ссылку, и онъ думалъ, что легко перенесетъ ее. А между тѣмъ не было бы ссылки — не было бы вѣроятно и эмиграціи и страшнаго душевнаго раскола, который эмиграція принесла за собой. Ссылка обидѣла Герцена. Его гордая, независимая душа возмутилась той безцеремонностью, съ которой посягали на его личность. Покорности и смиренія не было въ его натурѣ. Онъ не умѣлъ, какъ Витбергъ, какъ Достоевскій, всосать въ себя обиду и находить своеобразное наслажденіе въ самыхъ страданіяхъ. Онъ считалъ, что съ нимъ поступили несправедливо, и его характеръ

требовалъ мести. Изъ мальчика-либерала онъ, благодаря постоянному *спеціальному* вниманію къ себѣ, сдѣлался непримиримымъ врагомъ всего, что давитъ человѣческую личность, что накладываетъ на нее какіе-бы то ни было кандалы и путы. О ссылкѣ всю свою жизнь онъ говорилъ съ ненавистью, со злобой, иногда просто со злостью,—со злостью силы, которая видитъ, что не можетъ отомстить такъ, какъ желаетъ, и должна удовлетвориться лишь стрѣлами ироніи, не долетавшими даже до цѣли.

Это чувство личной неприкосновенности, доводимое порою даже до крайности, до «нигилизма», какъ выражается Страховъ, до ненависти ко всякому гнету, до отрицанія всякаго подчиненія,—очень характерно. Оно какъ нельзя лучше оправдываетъ не разъ дававшійся ему эпитетъ европейца, такъ какъ табуннаго, массоваго начала—того т. е., которое многіе считаютъ сущностью славянской натуры, въ немъ не было почти и слѣда.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ ссылка, какъ бы ничтожны и пошлы ни были ея впечатлѣнія, значительно приблизила его къ землѣ, къ дѣйствительности, сведя съ высоты школьнаго идеализма, питавшагося Шиллеромъ.

Настало, повторяю, 10-е апрѣля. Нѣсколько часовъ утра прошли въ утомительныхъ и скучныхъ формальностяхъ.

«Наконецъ,—пишетъ Герценъ,—я въ коляскѣ, за заставой.

Не было силъ еще разъ взглянуть на Москву — да и Богъ съ ней. Колокольчику отвязали язычекъ—мы ѣдемъ. Вдругъ провожатый, спокойно курившій трубку, привсталъ на козлахъ, снялъ фуражку и сталъ креститься, говоря моему камердинеру: «креститесь, почемъ знать, увидимъ-ли Кремль и Ивана Великаго». Фу! я бросилъ извозчику четвертакъ, чтобы онъ поскорѣе ѣхалъ, и ямщикъ поскакалъ: вѣтеръ—буря! На другой день я съ любопытствомъ смотрѣлъ на губернскій городъ. Воспитанный во всѣхъ предразсудкахъ столицы, я былъ увѣренъ, что за сто верстъ отъ Москвы и отъ Петербурга Варварійскія степи, Несторово Лукоморье, и—крайне удивился, что губернскій городъ похожъ на дальній кварталъ Москвы.»

Нѣсколько дней быстрой ѣзды по весеннему скользкому снѣгу, нѣсколько дорожныхъ приключеній при переправахъ черезъ рѣку, двѣ-три остановки въ губернскихъ городахъ,—и подъ свинцовымъ нависшимъ небомъ Герценъ увидѣлъ какъ бы въ безпорядкѣ наброшенную кучу деревянныхъ построекъ по берегу широкой, могучей рѣки. Это была Пермь. Здѣсь слѣдовало остановиться, надолго, какъ предполагалось, и всего на двадцать дней въ дѣйстви-

тельности. Герцена отправили изъ Перми въ Вятку, такъ какъ другой ссыльный просился на его мѣсто. Пермь или Вятка? что лучше или что хуже? Выборъ былъ безразличенъ...

«Въ Перми,—вспоминаетъ онъ,—я не успѣлъ оглядѣться; тамъ только хозяйка дома, въ который я пришелъ нанимать квартиру, спрашивала меня, нуженъ-ли мнѣ огородъ и держу-ли корову,—вопросъ, по которому я съ ужасомъ вымѣрилъ мое паденіе съ академическихъ высотъ студенческой жизни. Пермь была для меня ad lectionem, настоящій текстъ въ Вяткѣ... Не думая, не гадая, я уѣхалъ изъ Перми дней черезъ двадцать, и черезъ пять съ половиною сутокъ вялая волна Вятки подвигала мой досчаникъ къ крутому берегу, на которомъ красовалось длинное желтое неуклюжее зданіе губернскаго правленія. Опять fatum! А я грустно подвигался къ Вяткѣ, душа предчувствовала много ударовъ, паденій, грязи, мелочей, пыли—это было въ 1835 г. 20-го мая, вечеромъ»...

Очень мало опытный въ жизни и брошенный въ міръ, совершенно ему чуждый послѣ девятимѣсячной тюрьмы, онъ жилъ сначала разсѣянно, безъ оглядки; новый край, новая обстановка рябили передъ глазами. Его общественное положеніе сильно измѣнилось. Въ Перми, въ Вяткѣ на него смотрѣли совершенно иначе, чѣмъ въ Москвѣ: тамъ онъ былъ молодымъ человѣкомъ, жившимъ въ родительскомъ домѣ; здѣсь, въ провинціальномъ болотѣ, онъ сталъ на свои ноги, былъ принимаемъ за чиновника и жениха, хотя ни къ одному изъ этихъ «ремеслъ» не питалъ ни малѣйшей склонности. Не трудно было ему догадаться, что безъ большого труда онъ могъ играть роль свѣтскаго человѣка въ заволжскихъ и закамскихъ гостиныхъ и быть львомъ въ вятскомъ обществѣ... Только зачѣмъ все это?

«Въ силу кокетливой страсти de l'approbativité, — признается онъ,—я старался нравиться направо и налѣво, безъ разбора кому, натягивалъ симпатіи, дружился по десяти словамъ, сближался больше, чѣмъ нужно, сознавалъ свою ошибку черезъ мѣсяцъ или два, молчалъ изъ деликатности и таскалъ скучную цѣпь неистинныхъ отношеній до тѣхъ поръ, пока она не обрывалась безсмысленной ссорой, въ которой меня же обвиняли въ капризной нетерпимости, въ неблагодарности, непостоянствѣ»...

Первое время онъ жилъ не одинъ. Вмѣстѣ съ нимъ отецъ отправилъ Карла Ивановича Зонненберга, — того самаго, который когда-то провожалъ его на первую лекцію. Карлъ Ивановичъ немедленно же по пріѣздѣ принялся за дѣло, т. е. за покупку ненужныхъ вещей, всякаго хламу, всякой посуды, кастрюль, чашекъ,

хрусталю, запасовъ и даже лошади. Когда въ Перми все было готово и монтировано на барскую ногу—Герцена перевели въ Вятку. Здѣсь Зонненбергъ проявилъ еще большую ревность.

«Въ Вяткѣ онъ уже купилъ не одну, а трехъ лошадей, изъ которыхъ одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли насъ чрезвычайно въ глазахъ вятскаго общества.»

Новая любовь и новая дружба скоро позолотили ссылку, но ненадолго и къ тому же робкими, мимолетными сѣверными лучами. Новая могила явилась и въ сердцѣ Герцена. Онъ поступилъ жестоко, по-юношески. Что дѣлать? Жестока юность. Это боевой періодъ жизни, который переживаетъ не только отдѣльный человѣкъ, но и цѣлые народы. И они, ощущая въ себѣ присутствіе невѣдомой и неиспытанной еще силы, чувствуя, какъ кипитъ и волнуется кровь, идутъ нестройными одушевленными ватагами искать приключеній, завоеваній, побѣдъ. Игра жизнью, игра силой прельщаетъ ихъ, и сколько разрушенныхъ городовъ, опрокинутыхъ государствъ, сколько пирамидъ изъ вражескихъ череповъ оставили эти юные народы послѣ своего побѣдоноснаго шествія, пока не вошли наконецъ въ колею сѣренькаго, разсчетливаго существованія. Такъ и человѣкъ, если онъ добръ, юнъ, самоувѣренъ—ему нужны побѣды, онъ ищетъ ихъ, онъ не привыкъ еще смиряться, самая любовь влечетъ его къ себѣ, потому что онъ ищетъ кого бы подчинить себѣ, надъ кѣмъ бы властвовать. И у кого отъ дней юности не осталось тяжелыхъ воспоминаній, мучительныхъ сожалѣній объ «увядшихъ весеннихъ цвѣтахъ», о привязанностяхъ, принесенныхъ въ жертву этой страстной деспотической жаждѣ властвовать, заставлять другихъ служить себѣ? Но къ разсказу.

Герценъ и нѣкая г-жа Р. скоро увидѣлись. Р., какъ истинная героиня романа, была очень несчастна и, обманывая себя мнимымъ спокойствіемъ, томилась и исходила въ какой-то праздности сердца. Она не любила мужа и не могла любить его: ей было лѣтъ двадцать пять, ему—за пятьдесятъ,—съ этимъ можетъ быть она бы сладила,—но различіе образованія, интересовъ, характеровъ было слишкомъ рѣзко... Мужъ почти не выходилъ изъ комнаты; это былъ сухой, черствый старикъ, чиновникъ съ притязаніемъ на помѣщичество, раздражительный, какъ всѣ больные и какъ всѣ люди, потерявшіе состояніе...

Къ чему привело знакомство—угадать не трудно.

«Съ мѣсяцъ, — разсказываетъ Герценъ, — продолжался запой любви; потомъ будто сердце устало, истощилось,—на меня стали находить минуты тоски; я ихъ тщательно скрывалъ, старался имъ не вѣрить, удивлялся тому, что происходило во мнѣ, а любовь стыла себѣ, да стыла.

«Меня стало тѣснить присутствіе старика, мнѣ было съ нимъ неловко, противно. Не то, чтобы я чувствовалъ себя неправымъ передъ гражданскимъ собственникомъ жены, которая его не могла любить и которую онъ любить былъ не въ силахъ, но моя двойная роль казалась мнѣ унизительной; лицемѣріе и двоедушіе—два преступленія, наиболѣе чуждыя мнѣ. Пока распахнувшаяся страсть брала верхъ, я не думалъ ни о чемъ, но когда она стала нѣсколько холоднѣе, явилось раздумье...»

Старикъ Р. скоро умеръ.

«Печаль жены улеглась мало-по-малу, она тверже смотрѣла на свое положеніе; потомъ мало-по-малу и другія мысли прояснили ея озабоченное и унылое лицо. Ея взоръ останавливался съ какой-то взволнованной пытливостью на мнѣ, будто она ждала чего-то, вопроса и отвѣта. Я молчалъ, и она, испуганная, встревоженная, стала сомнѣваться. Тутъ я понялъ, что мужъ въ сущности былъ для меня извиненіемъ въ своихъ глазахъ — любовь откинѣла во мнѣ. Я не былъ равнодушенъ къ ней, далеко нѣтъ, — но это было не то, чего ей надобно было. Меня занималъ теперь другой порядокъ мыслей, и этотъ страстный порывъ словно для того обнялъ меня, чтобы уяснить мнѣ самому *иное* чувство. Одно могу сказать я въ свое оправданіе—я былъ искрененъ въ своемъ увлеченіи...»

Мы вправѣ остановиться передъ такими коллизіями жизни и поставить ихъ передъ судомъ своей совѣсти, но совѣсть наша не съумѣетъ высказаться съ полной опредѣленностью; ея приговоръ расплывается въ томительномъ раздумьи. Два порядка мыслей, чувствъ, настроеній вотъ уже тысячелѣтіе борются въ душѣ цивилизованнаго человѣка. Одинъ подсказываетъ ему его право на все, говоритъ ему о законныхъ наслажденіяхъ, оправдываетъ страсть, хотя бы она заканчивалась жертвой; другой — требуетъ самоотреченія и лишь въ торжествѣ воли надъ искушеніемъ видитъ торжество истины. Мы колеблемся между двумя смутными идеалами. Юность служитъ первому, а это служеніе оставляетъ на душѣ горькій осадокъ.

«Зачѣмъ,—спрашиваетъ Герценъ,—она встрѣтилась именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло въ могилу, новая жизнь любви, гармоніи была такъ возможна для нея. Бѣдная, бѣдная Р!.

Виноватъ ли я, что это облако любви, такъ непреодолимо набѣжавшее на меня, дохнуло такъ горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потомъ?»

Разрывъ былъ неминуемъ, неизбѣженъ, и какое величіе души проявила въ немъ несчастная женщина, вся жизнь которой ушла на жертву лжи и иллюзіи. Герценъ наконецъ признался ей во всемъ. Полуложь, которую онъ длилъ цѣлые мѣсяцы, стала невыносимой. Онъ сказалъ, что его любви не осталось и слѣда. На другой день ему подали отвѣтъ отъ Р. Она благословляла его на новую жизнь, желала счастья, называла Natalie сестрой и протягивала руку на забвеніе прошедшаго и на будущую дружбу—какъ будто она была виновата!...

* * *

«Порывъ любви къ Р.—писалъ впослѣдствіи Герценъ—уяснилъ мнѣ мое собственное сердце, раскрылъ его тайну»...

Увлекаясь все больше и больше своей симпатіей къ отсутствующей кузинѣ, онъ однако не давалъ себѣ отчета въ чувствѣ, связывавшемъ его съ ней. Онъ привыкъ къ нему и не слѣдилъ, измѣнилось ли оно, или нѣтъ. А любовь росла. Имя «сестра» начинало стѣснять его. Теперь ему не достаточно уже было дружбы; это тихое чувство казалось холоднымъ. Каждое новое письмо, полученное изъ Москвы, только горячило страсть. Любовь «сестры» была видна изъ каждой строчки ея писемъ, но «мнѣ, — говоритъ Герценъ, — ужъ и этого было мало, мнѣ нужна была не только любовь, но и самое слово». Онъ писалъ въ это время: «Я сдѣлаю тебѣ странный вопросъ, вѣришь ли ты, что чувство, которое питаешь ко мнѣ,— одна дружба? Вѣришь ли ты, что чувство, которое я имѣю къ тебѣ,— одна дружба? *Я не вѣрю*».

Переписка съ этой минуты стала проще, искреннѣе: влюбленные договорились. Теперь мы знаемъ эту переписку почти полностью, и странно было слышать жалобы, что она скучна, длинна, мелочна: это одинъ изъ тѣхъ немногихъ невыдуманныхъ и неприкрашенныхъ документовъ жизни, которые позволяютъ намъ заглянуть глубоко-глубоко въ чистую женскую душу, откуда, то въ формѣ наивнаго дѣтскаго лепета, то истиннаго лиризма, изливается свѣтлый источникъ лучшаго женскаго чувства—материнства. Неужели мы уже настолько сухи и черствы, что не можемъ проникнуться прелестью даже этого?

Согласенъ, что письма Герцена хуже. Въ нихъ рядомъ съ истиннымъ чувствомъ — ломанныя выраженія, изысканныя, эффектныя слова, явное вліяніе школы Гюго и французскихъ романтиковъ. Ничего подобнаго въ ея письмахъ: слогъ ея простъ, поэтиченъ, истиненъ, на немъ замѣтно одно вліяніе, вліяніе Евангелія.

Роль этой переписки, не замолкавшей ни на минуту цѣлые годы,—громадна. Она продолжила собою то, что началось еще при встрѣчѣ на кладбищѣ: она учила молитвѣ. «Natalie,—говоритъ впослѣдствіи Герценъ,—едва указала мнѣ Бога, и я сталъ вѣровать»,— и вѣровалъ долго подъ чистымъ вліяніемъ своей невѣсты.

Когда онъ признался въ любви, она отвѣчала: «ты что-то смущенъ, я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чѣмъ меня. Успокойся, другъ мой, оно не перемѣнило во мнѣ рѣшительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше».

Спокойствіемъ, убѣжденностью, серьезностью вѣрующаго проникнуто каждое ея слово. И повторяю: за признаніями влюбленной дѣвушки вы постоянно слышите голосъ любящей матери. Любовь наполняетъ ея сердце, и она отдается своему чувству безъ малѣйшаго жеманства, безъ колебаній. Ей такъ привольно любить и знать, что она любима, какъ привольно дышать свѣжимъ воздухомъ въ широкой безконечной степи.

«Можетъ ты сидишь теперь,—пишетъ она,—въ кабинетѣ, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару и взоръ твой углубленъ въ неопредѣленную даль, и нѣтъ отвѣта на привѣтствіе вашедшаго. Гдѣ же твои думы? Куда стремится взоръ? Не давай отвѣта. Пусть придутъ ко мнѣ.

«Будемъ дѣтьми, назначимъ часъ, въ который намъ обоимъ непремѣнно быть на воздухѣ,—часъ, въ который мы будемъ увѣрены что насъ ничего не дѣлитъ кромѣ одной дали. Въ восемь часовъ вечера и тебѣ вѣрно свободно? А то я давича вышла было на крыльцо-да тотчасъ возвратилась, думая, что ты вѣрно въ комнатѣ.

«Глядя на твои письма, на портретъ, думая о моихъ письмах о браслетѣ, мнѣ захотѣлось перешагнуть лѣтъ за сто и посмотрѣть какая будетъ ихъ участь? Вещи, которыя были для насъ святыне которыя лѣчили наше тѣло и душу, съ которыми бесѣдовали и к торыя намъ замѣняли нѣсколько другъ друга въ разлукѣ; всѣ эт орудія, которыми мы оборонялись отъ людей, отъ рока, отъ самих себя, что будутъ они послѣ насъ? Останется ли въ нихъ сила и или душа? Разбудятъ ли они, согрѣютъ ли чье сердце? разскажутъ наши страданія, нашу повѣсть, нашу любовь? будетъ-ли имъ въ

раду хоть одна слеза? Какъ грустно становится, когда воображу, то портретъ твой наконецъ будетъ висѣть безвѣстнымъ въ чьемъ нибудь кабинетѣ, или, можетъ быть, какой нибудь ребенокъ, играя мъ, разобьетъ стекло и сотретъ черты.»

Трогательна эта ревность любви къ всеразрушающему времени, то опасеніе передъ тѣмъ, какъ бы вѣчность не уничтожила и послѣднихъ слѣдовъ чувства...

Любовь питалась не только разлукой, но и, какъ это часто бываетъ, противодѣйствіемъ окружающихъ. Старшіе и съ той, и съ другой стороны были противъ брака. Наталью Александровну хотѣли даже насильно выдать замужъ. Въ тѣхъ же письмахъ она разсказала о пережитыхъ ею мукахъ. Переписка ея съ Герценомъ, долго скрываемая отъ княгини, у которой въ качествѣ сироты и воспитанницы жила она, была наконецъ открыта. Княгиня взбунтовалась и строжайше запретила людямъ и горничнымъ доставлять письма молодой дѣвушкѣ и отправлять ея письма на почту. Въ виду же окончательнаго прекращенія всякой глупости, рѣшено было виновную выдать замужъ. Наталья Александровна, разумѣется, рѣшительно заявила, что не приметъ ничьего предложенія.

Тогда началось безпрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гоненіе; гоненіе ежеминутное, мелкое, вцѣпляющееся за каждый шагъ, за каждое слово.

«Представь себѣ,—писала въ это время Н. А.,—дурную погоду, страшную стужу, вѣтеръ, дождь, пасмурное какое-то безъ выраженія небо, прегадкую маленькую комнату, изъ которой кажется сейчасъ вынесли покойника, а тутъ эти *дѣти* безъ цѣли, даже безъ удовольствія шумятъ, кричатъ, ломаютъ и маранотъ все близкое, да хорошо бы еще, еслибы только можно было глядѣть на этихъ *дѣтей*, когда заставляютъ быть въ ихъ средѣ!... У насъ сидятъ три старухи и всѣ три разсказываютъ, какъ ихъ покойники были въ парадѣ, какъ онѣ за ними ходили,—а и безъ того холодно?..»

Началось систематическое гоненіе, и не только со стороны княгини, но и жалкихъ старухъ-приживалокъ, мучившихъ безпрерывно дѣвушку, уговаривая ее идти замужъ и браня Герцена; большей частью она умалчивала въ письмахъ о рядѣ непріятностей, выносимыхъ ею, но иной разъ горечь, униженіе и скука брали верхъ.

«Не знаю,—пишетъ она,—можно ли выдумать еще что нибудь къ тому угнетенію, неужели у нихъ станетъ настолько ума! Знаешь ты, что даже выходъ въ другую комнату мнѣ запрещенъ, даже перемѣна мѣста въ той же комнатѣ... Я давно не играла на фор-

тепьяно, подали огонь, иду въ залу, авось либо смилосердятся; нѣтъ, воротили—заставили вязать... Непремѣнно сядь тутъ, рядомъ съ попадьей, слушай, смотри, говори, а онѣ только говорятъ о Филаретѣ да пересуживаютъ тебя... На минуту мнѣ стало досадно, я покраснѣла, и вдругъ тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть ихъ рабой, нѣтъ, мнѣ смертельно стало жаль ихъ»...

Женихъ отыскался скоро и дѣло дошло до формальнаго сватовства.

«Что я вытерпѣла сегодня,—жалуется Н. А. въ письмѣ отъ 26 октября 1837 г.,—ты не можешь себѣ этого и представить. Меня нарядили и повезли къ С. Тутъ былъ онъ»...

* *
*

Легко себѣ представить, какъ рвался Герценъ изъ Вятки. Онъ писалъ, утѣшалъ, самъ приходилъ въ отчаяніе, но дѣлать было нечего: надо ждать и терпѣть. Къ Вяткѣ почти ничто не привязывало его; онъ былъ чужимъ въ этомъ обществѣ, состоявшемъ почти исключительно изъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ. Служба была ему прямо противна, и хорошо еще, что губернаторъ, «снисходя» къ его образованію и развитію, поручилъ ему кое-какія статистическія работы.

Этимъ губернаторомъ былъ знаменитый Тюфяевъ. Вотъ типъ, которымъ смѣло могла бы гордиться дореформенная административная Россія. Въ Тюфяевѣ воплотилась вся необузданность произвола, вся грубость власти, все безмѣрное презрѣніе къ личности, которыя характеризуютъ старое доброе время. Онъ вышелъ изъ ничтожества. Разными темными таинственными дѣлами онъ достигъ губернаторства. Цѣлый громадный край былъ теперь въ его рукахъ, край мрачный, забитый и придушенный самою природой. Тюфяевъ сдѣлалъ его еще болѣе мрачнымъ, еще болѣе забилъ и придушилъ его. Въ немъ былъ характерный для того времени какой-то дикій разгулъ деспотизма, какой-то карнавалъ властолюбія. Разумѣется, все передъ нимъ дрожало, преклонялось, холопствовало. Чиновники подавали ему калоши и отдавали ему женъ на подержаніе. Обыватели прятались куда попало при его проѣздѣ черезъ городскія улицы. Это былъ настоящій сатрапъ-аракчеевецъ, все гнувшій въ дугу, на все налагавшій свою тяжелую руку. И вотъ идеали-

тически настроенному, полному утопическихъ стремленій юности, европейски-образованному Герцену пришлось войти въ непосредственныя отношенія съ этимъ человѣкомъ другого міра, этимъ порожденіемъ предательства и сластолюбія, разгульнаго произвола и дикой жестокости, и даже находиться у него въ подчиненіи. Герценъ, въ которомъ чувство личности и собственнаго достоинства заполоняли все остальное, который не соглашался отдать человѣческую личность въ службу чему-бы то ни было,—Герценъ, этотъ аристократъ ума, органически ненавидящій все пошлое, мѣщанское, грубое и ставившій на первое мѣсто чувство «чести»,—долженъ былъ «хоть какъ нибудь» да ладить съ Тюфяевымъ, хотя «не возражать» на его дикія выходки. Сколько горечи, обиды должно было накопиться въ сердцѣ, сколько мрачныхъ, тоскливыхъ мыслей накопиться въ головѣ. Грубое топтаніе человѣческой личности мучило до невыносимой боли, а между тѣмъ на рукахъ были путы и нечего было дѣлать, ибо не только дѣло, но и слово протеста было бы государственной измѣной. Затаивъ въ душѣ все, что кипѣло въ ней, Герценъ съ удивительнымъ тактомъ своей аристократической натуры съумѣлъ все же въ концѣ концовъ отстоять свою самостоятельность. Онъ не поддался Тюфяеву, и тотъ наконецъ «снизошелъ къ его образованію».

Это было хорошо. Но продолжало томить одиночество. Человѣка, съ которымъ можно было бы поговорить по душѣ, онъ долго не могъ найти. Но въ этомъ отношеніи судьба скоро улыбнулась ему.

Въ то время въ Вяткѣ, одинаково въ ссылкѣ, по обвиненію въ растратѣ казеннаго имущества, жилъ знаменитый архитекторъ Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ, чей неосуществленный проектъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ является и до сей поры однимъ изъ самыхъ драгоцѣнныхъ памятниковъ русскаго искусства. Витбергъ былъ натурой религіозной, мистической; его вліяніе на Герцена было то же, какъ и Натальи Александровны.

Изгнанники скоро сошлись и подружились. Витбергъ былъ значительно старше и лѣтами, и опытомъ, но это не помѣшало сближенію. Семейство Витберга еще не пріѣзжало въ Вятку, и онъ поселился въ одномъ домѣ съ Герценомъ. Зонненбергъ уже укатилъ на ирбитскую ярмарку, и друзья вдвоемъ устроили какую-то артистическую жизнь. Что-то строгое, монастырское царило въ ихъ комнатахъ. Цѣлые дни они проводили въ оживленныхъ, нескончаемыхъ

бесѣдахъ, часто вечерами засиживались до глубокой ночи, повѣряя другъ другу свои думы, свою вѣру, свои обиды.

«Natalie,—говоритъ Герценъ,—едва указала мнѣ Бога, и я сталъ вѣровать. Пламенная же душа артиста переходила границы и терялась въ темномъ, но величественномъ мистицизмѣ, и я нашелъ въ мистицизмѣ больше жизни и поэзіи, чѣмъ въ философіи. Благословляю то время.»

Этотъ темный, величественный мистицизмъ спасалъ Витберга отъ отчаянія и всасывалъ въ себя его глубокую, безысходную тоску. Ссыльнымъ, опозореннымъ, признаннымъ чуть не за вора, жилъ онъ въ Вяткѣ, зная, но не смѣя даже допустить въ мысли, даже наединѣ съ самимъ собою, что его проектъ, его мечта сойдетъ неосуществленнымъ вмѣстѣ съ нимъ въ могилу. Къ величественному и грандіозному стремилась его душа, и эти святые порывы онъ воплотилъ въ своемъ храмѣ. Судьба, казалось, была на его сторонѣ: Александръ I призналъ геній художника, одобрилъ его планы и чертежи. Было приступлено къ работамъ, и вдругъ рухнуло отъ зависти, злобы, клеветы.

«Не зданіе храма,—говоритъ Герценъ, — хотѣлъ воздвигнуть художникъ, а молитву Богу... Храмъ долженъ былъ состоять изъ трехъ отдѣльныхъ. Первый храмъ—нижній, храмъ тѣлесный, тремя сторонами вдается въ гору; свѣтъ проникаетъ въ него съ четвертой стороны—восточной. Алтарь освѣщаютъ огромныя стекла съ изображеніемъ Рождества Христова. Сводъ поддерживается столбами изъ гранита. Стѣны украшены чернымъ, бѣлымъ и сѣрымъ мраморомъ. Барельефы изображаютъ исторію и смерть Спасителя и апостоловъ. Въ углубленіи катакомбы въ память всѣхъ воиновъ, павшихъ за отечество. Сводъ образуетъ фундаментъ второго храма и завершается катакомбой, въ которой должны быть положены воины, павшіе за отечество въ 1812 году. Внутреннія лѣстницы соединяютъ нижній храмъ со вторымъ».

Въ темные осенніе вечера, въ долгія лѣтнія ночи Витбергъ со страстью и упоеніемъ посвящалъ Герцена въ тайну и символику своего грандіознаго проекта и передавалъ ему тѣ обстоятельства жизни, которыя раздавили и растоптали мечты художника.

Душа Герцена была какъ нельзя болѣе подготовлена къ тому, чтобы мистическія страстныя рѣчи находили себѣ отзвукъ въ ней. Но въ ней все же сохранялось мѣсто и для думъ юности, и для прежнихъ увлеченій, но высказывать ихъ Витбергу было невозможно.

«Странно,—пишетъ Герценъ,—что нѣтъ перехода между новымъ и старымъ впечатлѣніями. Объ искусствѣ, о наукахъ мы никогда

не спорили другъ съ другомъ, но какъ скоро доходило до жизни, оврагъ насъ дѣлилъ, и я съ прискорбіемъ пряталъ свою тайну въ душу свою, боясь его полезнаго, опытнаго мнѣнія.»

Герценъ молчалъ о политикѣ, жалѣя разрушить дружбу, и находилъ, что съ этой стороны одиночество его продолжается. «Жизнь, говорилъ онъ о себѣ, несмотря на любовь, дружбу, разговоръ и письма, все же не давала мнѣ достаточно жизни». Онъ скучалъ. Вѣдь еще и теперь, черезъ шестьдесятъ лѣтъ, умный человѣкъ не всегда знаетъ, что ему дѣлать въ провинціи, и не способенъ переварить пустоты и однообразія ея существованія. Поневолѣ онъ рвется на огонь въ столицу, гдѣ если и не очень ужъ много хорошаго, зато много возможностей хорошаго, много ожиданій и не меньше иллюзій. Цезарь былъ вѣроятно не совсѣмъ искрененъ, увѣряя, что предпочелъ бы первое мѣсто въ деревнѣ—второму въ Римѣ. Для Цезарей—въ деревнѣ нѣтъ мѣста...

* *
*

Полныя отчаянія, тоски письма Натальи Александровны продолжались. Остановимся еще немного на этомъ романѣ, полномъ поэзіи и правды жизни.

Ея женихъ—полковникъ понравился всѣмъ. Сенаторъ его ласкалъ, отецъ Герцена находилъ, что «лучше жениха нельзя ждать и желать не должно». Княгиня ничего не говорила прямо, но прибавляла притѣсненій и торопила дѣло. Дѣвушка пробовала прикидываться при женихѣ совершенной дурочкой, думая, что *этимъ* отстращаетъ его. Нисколько, онъ продолжалъ ѣздить чаще и чаще.

«Вчера,—пишетъ она,—была у меня Эмилія, вотъ что она сказала: «еслибы я услышала, что ты умерла, я бы съ радостью перекрестилась и поблагодарила бы Бога». Она права во многомъ, но не совсѣмъ; душа ея, живущая однимъ горемъ, поняла вполнѣ страданія моей души, но блаженство, которымъ ее наполняетъ любовь,—едвали ей доступно».

Княгиня, не смотря на препятствія, не унывала: «Желая очистить свою совѣсть, она призвала священника, знакомаго съ полковникомъ, и спрашивала его, не грѣхъ ли будетъ отдать меня насильно? Священникъ сказалъ, что будетъ даже богоугодно пристроить сироту. Я пошла за своимъ духовникомъ и открыла ему все.»

Полковникъ оказался однако благороднѣе, чѣмъ его считали.

Какъ ни скрывали и ни маскировали дѣла, онъ не могъ не увид
рѣшительнаго отвращенія невѣсты: онъ сталъ рѣже ѣздить, с
зался больнымъ, заикнулся даже о прибавкѣ приданаго. Это оч
разсердило, но княгиня прошла и черезъ это униженіе: она дав
еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, онъ не ждалъ,
тому что послѣ нея совершенно скрылся.

Мѣсяца два прошли тихо. Вдругъ разнеслась вѣсть о перев
Герцена во Владиміръ. Тогда княгиня сдѣлала послѣдній отчаян
опытъ сватовства. У одной изъ ея знакомыхъ былъ сынъ—офице
только что возвратившійся съ Кавказа; онъ былъ молодъ, обра
ванъ и весьма порядочный человѣкъ. Княгиня, откинувъ спѣсь, с
предложила его сестрѣ «прозондировать» брата, не хочетъ ли
посвататься.

Онъ поддался на внушенія сестры. Но Натальѣ Александров
не хотѣлось еще разъ играть ту же скучную и отвратительн
роль; она, видя, что дѣло принимаетъ серьезный оборотъ, написа
новому жениху письмо, гдѣ прямо, открыто и просто говорила е
что любитъ другого, довѣрялась его чести и просила не увелич
вать ея страданія. Офицеръ очень деликатно устранился...

— Рѣшительно, съ этой дѣвчонкой нѣтъ никакого сладу! раздраженіи произнесла княгиня, услышавъ объ исходѣ с
товства.

«Надо было положить этому конецъ»...—пишетъ Герценъ.

* * *

Въ исходѣ 1837 года Герценъ былъ, по Высочайшему соизв
ленію, переведенъ изъ Вятки во Владиміръ, на службу въ кан
лярію губернатора Куруты — превосходнѣйшаго человѣка. 29 д
кабря въ сумерки онъ выѣхалъ изъ города. Семейство Витбер
провожало его. Къ Витбергу же были написаны и его перв
письма съ дороги, первыя письма человѣка, почувствовавшаго, ч
онъ опять если и не свободенъ, то на дорогѣ въ свободѣ. Онъ п
салъ изъ Полянъ, находящихся въ 46-ти верстахъ отъ Нижняг
Новгорода:

«Сюда пріѣхалъ я въ первомъ часу. И такъ обнимемся, Ал
ксандръ Лаврентьевичъ и всѣ ваши! Вотъ вы всѣ передъ глазами.
Эрнъ отдалъ ли яблоки пуще всего? Я сижу въ прескверн ѣйше
избѣ, наполненной тараканами, до которыхъ M-me Witberg н

большая охотница, и пью шампанское, до котораго M-r Witberg не охотникъ. Оно не замерало, и я имѣлъ терпѣніе везти его отъ Бахты, а дуракъ станціонный смотритель спрашивалъ: «виноградное что ли-съ?»—нѣтъ, изъ клюквы! сказалъ я ему,—и онъ будетъ увѣрять въ этомъ проѣзжихъ. Изъ Нижняго буду писать comme il faut, а здѣсь ни пера, ничего, зато дружбы къ вамъ много, много. Передъ вами вспомнилъ только кого?

Sapienti sat. Александръ».

(1-го января 1838 года, Нижній-Новгородъ.)

«Еще разъ поздравляю васъ, Александръ Лаврентьевичъ, съ новымъ годомъ; какъ вы провожаете его? Я живу одиноко въ гостинницѣ, съ вѣчной одной мечтой и временами запивая съ вами виномъ слезу горячую. Наша встрѣча была важна. Вы, какъ Виргилій, взявшій вести Данта, сбившагося съ дороги; жаль, что вы поступили не совсѣмъ такъ, какъ Виргилій,—онъ довелъ Данта до Беатриче, а вы должны были покинуть меня на Бахтѣ. Извините, что кончилъ глупостью. Вы понимаете,—ну, стало довольно. Прочтите мое письмо къ Эрну—оно напомнитъ вамъ меня... Прощайте!»

(3-го января, Владиміръ.)

«Такъ какъ христіанинъ останавливается въ благоговѣйномъ трепетѣ, не входя въ храмъ, на паперти, такъ и я остановился передъ Москвою. Еще нога пилигрима не такъ чиста, чтобы коснуться святого города. Москва! Москва!»

VI.

Владиміръ на Клязьмѣ.

Герценъ ѣхалъ во Владиміръ, но не утерпѣлъ и завернулъ въ Москву, рискуя, быть можетъ, солдатчиной, быть можетъ, Сибирью. Наконецъ то, послѣ утомительно долгой разлуки, увидѣлся онъ съ невѣстой. Полной поэзіи оказалась встрѣча.

«Natalie — разсказываетъ онъ—вошла, гдѣ я ждалъ ее, вся въ бѣломъ, ослѣпительно прекрасна; три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выраженіе. «Это ты»—сказала она своимъ тихимъ, кроткимъ голосомъ... Мы сѣли на диванъ и молчали. Выраженіе счастья въ ея глазахъ доходило до страданія. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, смѣшивается съ выраженіемъ боли, потому что и она мнѣ сказала: «какой у тебя измученный видъ!». Я держалъ ея руку, на другую она облокотилась, и намъ нечего было другъ другу сказать... короткія фразы, два-три воспоминанія, слова изъ писемъ, пустыя замѣчанія. Сердце было слишкомъ полно и не находило словъ. Потомъ взошла нянюшка, говоря, что пора, и я всталъ не возражая, и она меня не останавливала: такая полнота была въ душѣ. Больше, меньше, короче, дольше, еще—все это исчезло передъ полнотой настоящаго.»

Герценъ уѣхалъ съ твердымъ намѣреніемъ похитить свою невѣсту, разъ старики и старухи не соглашались отдать ее ему добромъ. Она одинаково не видѣла другого исхода, и, благодаря помощи друзей, отчасти и постороннихъ, заинтересованныхъ романомъ, планъ удался какъ нельзя лучше: въ маѣ 38-го года состоялась свадьба.

Вечеромъ въ день вѣнчанія Герценъ написалъ письмо отцу, просилъ его не сердиться на конченное дѣло, и «такъ какъ Богъ соединилъ насъ»,—то простить. Иванъ Алексѣевичъ и въ эту драматическую минуту остался вѣренъ себѣ. Онъ обыкновенно писалъ

сыну нѣсколько строкъ въ недѣлю, теперь онъ не ускорилъ ни однимъ днемъ отвѣта и не отдалилъ его, даже начало письма было какъ всегда:

«Письмо твое — сообщалъ Иванъ Алексѣевичъ — отъ 10 мая я третьяго дня въ пять съ половиною получилъ и изъ него не безъ огорченія узналъ, что Богъ соединилъ тебя съ Наташей. Я волѣ Божіей ни въ чемъ не перечу и слѣпо покоряюсь искушеніямъ, которыя Онъ ниспосылаетъ на меня. Но такъ какъ деньги мои, а ты не счелъ нужнымъ сообразоваться съ моей волей, то и объявляю тебѣ, что я къ прежнему твоему окладу, тысячи рублей серебромъ въ годъ, не прибавлю ни копѣйки.»

Пришлось покориться и подумать объ экономіи. Молодость впрочемъ города беретъ, какъ же ей не справиться съ матеріальными затрудненіями?

«У насъ — вспоминаетъ Герценъ — не было ничего, да—рѣшительно ничего, ни одежды, ни бѣлья, ни посуды. Мы сидѣли подъ арестомъ въ маленькой квартирѣ, потому что не въ чемъ было выйти. Матвѣй изъ экономическихъ видовъ сдѣлалъ отчаянный шагъ превратиться въ повара, но кромѣ бифштекса и котлетъ онъ не умѣлъ ничего дѣлать, и потому держался больше вещей, по натурѣ готовыхъ, ветчины, соленой рыбы, молока, яицъ, сыру и какихъ то пряниковъ съ мятой. Обѣдъ былъ для насъ безконечнымъ источникомъ смѣха; иногда молоко подавалось сначала—это значило супъ, иногда послѣ всего вмѣсто дессерта... Такъ бѣдствовали мы и пробились съ годъ времени. Наконецъ и отцу моему надоѣло брать насъ, какъ крѣпость, голодомъ; онъ, не прибавляя ничего къ окладу, сталъ присылать денежные подарки.»

Владимірскій періодъ въ жизни Герцена — это періодъ тихаго семейнаго счастья, безъ тревогъ и треволненій, медовый мѣсяцъ любви. Постороннему нечего останавливаться на немъ, какъ нечего ему прислушиваться къ разговору влюбленныхъ; у нихъ свои радости, свои горести, даже языкъ у нихъ свой. Герценъ чувствовалъ себя добрымъ, сильнымъ, готовымъ, какъ онъ самъ выражается, на «побѣду и одолѣніе», и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно спокойнымъ, такъ какъ пока ни побѣждать, ни одолѣвать было некого. Онъ пишетъ напримѣръ Витбергу:

«Что касается до моего дѣла, болѣе перевода во Владиміръ ничего нельзя было сдѣлать. Государь сказалъ: «Я для нихъ назначилъ срокъ». Но теперь что же мнѣ Владиміръ—уголъ рая, и ежели человѣку надобна земная опора, не все ли равно, гдѣ она — на Клязьмѣ или на Эльбѣ. Я до того счастливъ, что мнѣ иногда становится страшно. За что же провидѣніе меня такъ наградило? Не-

ужели за мои мелкія страданія? Въ самомъ дѣлѣ, какъ необъятно наше блаженство, даже всѣ эти непреоборимыя препятствія исчезли, растаяли отъ чистаго огня любви чистой. Папенька и Левъ Алексѣевичъ съ первой же почтой писали миръ и поздравленіе, и хотя, кажется, папенька хочетъ немножко меня потѣснить матеріальными средствами, но это больше отцовское наказаніе, временное, нежели сердце. Еще разъ прощайте. Цѣлую и обнимаю васъ.»

Или:

«Ну что я вамъ скажу о себѣ? счастливъ, сколько можетъ человѣкъ быть счастливъ на землѣ, сколько можетъ быть счастливъ человѣкъ, имѣющій душу, раскрытую и свѣтлому, и высокому и симпатичную къ страданіямъ другихъ.

Наташа—поэтъ безумный, неземной, въ ней все необыкновенно: она дика, боится толпы, но со мною высока и изящна. Кстати, я хотѣлъ вамъ написать, она, тоже какъ вы, не любитъ смѣхъ, никогда не произноситъ напрасно имя Бога и не любитъ Гогартовыхъ карикатуръ. Это напомнитъ вамъ нашу жизнь совокупную. А я думаю, подчасъ вамъ сладко вспоминать мрачные 1836 и 1837 годы: и въ дальней Вяткѣ вы нашли человѣка, душевно преданнаго, съ пламенною любовью къ вамъ.»

Свѣтлые и безмятежные дни проводили Герцены въ маленькой квартирѣ въ три комнаты у Золотыхъ воротъ, а потомъ въ огромномъ домѣ какой то вдовы-княгини.

«Здѣсь была большая зала, едва меблированная... иногда насъ брало такое ребячество, что мы бѣгали по ней, прыгали по стульямъ, зажигали свѣчи во всѣхъ канделябрахъ, прибитыхъ къ стѣнѣ, и, освѣтивъ залу a giorno, читали стихи. Порядокъ не торжествовалъ въ нашемъ домѣ.»

И со всѣмъ этимъ ребячествомъ жизнь была полна глубокой серьезности. Заброшенные въ маленькомъ городкѣ, тихомъ и смирномъ, мужъ и жена были вполнѣ отданы другъ другу. Изрѣдка приходила вѣсть о комъ нибудь изъ друзей, нѣсколько словъ горячей симпатіи, и потомъ опять одни, совершенно одни.

«Но въ этомъ одиночествѣ грудь наша—говорилъ Герценъ—не была замкнута счастьемъ, а, напротивъ, была больше, чѣмъ когда либо, раскрыта всѣмъ интересамъ; мы много жили тогда во всѣ стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви, мы свѣряли наши думы и мечты и съ удивленіемъ видѣли, какъ безконечно шло наше сочувствіе, какъ во всѣхъ тончайшихъ изгибахъ и развѣтвленіяхъ чувствъ и мыслей, вкусовъ и антипатій все было родное, созвучное. Только въ томъ и была разница, что Natalie вносила въ нашъ союзъ элементъ тихій, кроткій, граціозный, элементъ молодой дѣвушки со всей поэзіей любящей женщины, а я—живую дѣятельность, mоe semprae in motu, безпре-

дѣльную любовь, да сверхъ того путаницу серьезныхъ идей, смѣха, опасныхъ мыслей и кучу несбыточныхъ проектовъ. Мои желанія остановились. Мнѣ было довольно, я жилъ въ настоящемъ, ничего не ждалъ отъ завтрашняго дня, беззаботно вѣрилъ, что и онъ ничего не возьметъ. Личная жизнь не могла больше дать, это былъ предѣлъ; всякое измѣненіе должно было съ какой нибудь стороны уменьшить его.»

Къ довершенію семейной идилліи у Герцена въ іюнѣ 38 года родился сынъ-первенецъ, Александръ,—теперь профессоръ физіологіи въ Лозаннѣ.

* * *

Глядя на эту картину семейнаго полнаго счастья, кто бы могъ подумать, что пройдетъ немного лѣтъ, и вмѣсто единенія появится разладъ, что широкая трещина пробѣжитъ черезъ привязанность, а самая идиллія разсѣется, какъ дымъ. Случилось однако такъ, и опять тяжелый вопросъ: «кто виноватъ» поднимается передъ нами.

Заглянемъ за нѣсколько лѣтъ впередъ, чтобы не возвращаться уже болѣе къ этой грустной темѣ. Уже въ 1843 году Татьяна Пассекъ замѣтила, что «жизнь Герцена, повидимому счастливая, шла не совсѣмъ свѣтло». Наталья Александровна кромѣ слабаго здоровья постоянно находилась подъ гнетущимъ чувствомъ сомнѣнія любви къ ней мужа; — это порой выражалось болѣзненными сценами, которыя мучили Герцена. Онъ относилъ ихъ то къ физическому разстройству жены, то къ ея воспитанію, то характеру, къ привычкѣ сосредоточиваться на печальныхъ мысляхъ, то весь вредъ находилъ въ томъ, что она удаляется отъ общества, ведетъ отшельническую жизнь; обвинялъ себя, зачѣмъ часто оставляетъ ее одну по слишкомъ поглощающимъ его умственнымъ занятіямъ, зачѣмъ, по безпечности, не измѣнилъ ея душевнаго настроенія и не съумѣлъ достаточно счастливо обстановить ея жизнь. Часто заставая ее въ слезахъ,—вначалѣ старался ее развлекать, успокоивалъ, скрывалъ свое огорченіе, наконецъ терялъ терпѣніе и то уходилъ изъ дому въ какомъ то горячечномъ состояніи, то прибѣгалъ къ объясненію—а объясненія почти никогда не приводили къ желаемому результату. Наталья Александровна плакала, говорила, что она, всегда больная, страждущая, тоскующая, портитъ ему жизнь, что она ему

не нужна и лучше было бы ему отъ нея избавиться, лучше бы ей умереть; что онъ, конечно, потосковалъ бы о ней, а потомъ—успокоился. Герценъ увѣрялъ ее въ своей любви, говорилъ, что всѣ ея сомнѣнія—тѣни, призраки: Наталья Александровна, заливаясь слезами, признавалась, что эти сомнѣнія не оставляли ея съ первыхъ дней ихъ жизни вмѣстѣ, а она только скрывала ихъ отъ него; что они рождались въ ней съ ихъ первыхъ встрѣчъ, и она тогда же поняла, что его натурѣ можетъ соотвѣтствовать натура болѣе энергичная, чѣмъ ея. Измѣняя извѣстные стихи, можно сказать, что въ одной и той же упряжкѣ нельзя держать «орла и трепетную лань». Материнское, нѣжное чувство Натальи Александровны находило слишкомъ мало примѣненія въ отношеніи ея мужа. И она все больше и больше понимала, что она ненужна. Съ однимъ изъ эпизодовъ этого разлада мы еще встрѣтимся, пока же нѣсколько строкъ изъ воспоминаній Татьяны Пассекъ:

«При блестящемъ умѣ и рѣдко-добромъ сердцѣ, Саша по распущенности и съ дѣтства вкоренившейся привычкѣ, не долго думая, дѣлать все, что хотѣлось, не заботясь, какъ оно отзовется другимъ и даже самому себѣ,—впадалъ иногда въ такіе промахи и ошибки, которые разрушительно отзывались не только лично на немъ, но и на его семействѣ. Вслѣдствіе этой черты его характера, въ Москвѣ онъ—увлекся... не по сердечному чувству... раскаивался, жалѣлъ, надѣялся, что все сойдетъ съ рукъ даромъ, но оно не сошло, а сдѣлалось источникомъ долгихъ душевныхъ страданій.

Наташа хотѣла простить, забыть и—не могла.

Этого онъ не ждалъ... Она была огорчена—оскорблена. Огорченіе ея стало принимать все болѣе и болѣе широкіе размѣры.—Герценъ терялся передъ ея горемъ, передъ ея слезами, чувствуя себя виноватымъ, просилъ, умолялъ, говорилъ ей: «я сохранилъ къ тебѣ любовь во всей ея свѣтлости.»

Обвиняя себя,—онъ писалъ, мысленно обращаясь къ женѣ:—«Я поднимусь,—а рубцы то, нанесенные мной?—безконечная любовь носитъ въ себѣ и безконечное чувство самодостоинства. Она плачетъ не о фактѣ, а объ утраченномъ счастіи. Этотъ пятый годъ моей женитьбы раздавилъ послѣдніе цвѣты юности, послѣднія упованія; людямъ нравится во мнѣ широкій взглядъ, человѣческія симпатіи, теплая дружба, добродушіе—и не видятъ, что fond всему слабый характеръ. Во мнѣ нѣтъ твердой, хранительной силы. Мечты, мечты мои!—гдѣ вы? послѣдніе листы облетѣли и—призваніе общее, и призваніе частное,—все оказалось призракомъ, одни сомнѣнія парятъ въ душѣ, и слезы о вѣкѣ, о странѣ, о дружбѣ, о себѣ, о ней—grâce pour soi même!»

Измученный, онъ обращался къ друзьямъ за сочувствіемъ, за

совѣтомъ, и находилъ въ сочувствіи—судъ, въ совѣтахъ—предложенія, не сообразныя ни съ его характеромъ, ни съ больнымъ состояніемъ его духа, и упреки, если имъ не слѣдовалъ.

Странно и оскорбительно бываетъ участіе большей части людей, даже и любящихъ насъ.

Да, «жизнь учитъ насъ мученьями, годами и событіями».

VII.

Москва.—Новгородъ.—Петербургъ.

«Въ тридцатыхъ годахъ — говоритъ Герценъ — убѣжденія наши были слишкомъ юны, слишкомъ страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать кругъ Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философскія системы, занимались анализомъ себя и успокаивались въ роскошномъ пантеизмѣ, изъ котораго не исключалось христіанство. Мы мечтали о томъ, какъ начать въ Россіи новую жизнь.»

«Въ 1834 году былъ сосланъ весь кружокъ Сунгурова и исчезъ. Въ 1835 году сослали насъ; черезъ пять лѣтъ мы возвратились, закаленные, опредѣлившіеся. Юношескія мечты сдѣлались невозвратнымъ рѣшеніемъ совершеннолѣтнихъ. Это было самое блестящее время кружка Станкевича. Его самого я не засталъ—онъ былъ въ Германіи, но именно тогда статьи Бѣлинскаго стали обращать на себя вниманіе всѣхъ. Возвратившись, мы помирились. Бой былъ неравенъ съ обѣихъ сторонъ; почва, оружіе и языкъ — все было разное. Послѣ безплодныхъ преній мы увидѣли, что пришелъ намъ чередъ серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и нѣмецкую философію. Когда мы довольно усвоили ее себѣ, оказалось, что между нами и кругомъ Станкевича спору нѣтъ.»

Въ Москву Герценъ возвратился въ 1840 году, послѣ пяти лѣтъ отсутствія. Здѣсь былъ уже Огаревъ, вокругъ котораго группировались члены бывшаго станкевичевскаго кружка. Бакунинъ и Бѣлинскій стояли во главѣ, каждый съ томомъ Гегелевой философіи въ рукахъ и съ юношеской нетерпимостью провозглашавшіе—нѣтъ философа кромѣ Гегеля, и мы—пророки его. Герцена приняли радушно, съ почетнымъ снисхожденіемъ, какъ человѣка пострадавшаго, съ готовностью произвести его въ свои, но подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы онъ призналъ гегеліанство за догматъ и преклонился передъ нимъ. Прежде чѣмъ признать и преклониться, онъ сталъ изучать, и страстное одушевленіе товарищей мало по малу передалось и ему.

Въ наше время нѣтъ философа, нѣтъ системы, которая имѣла ы такое всеобщее значеніе, какъ гегеліанство пятьдесятъ лѣтъ ому назадъ. Ни Дарвинъ, ни Марксъ, ни Спенсеръ не могутъ идти ъ сравненіе. Они вліяютъ лишь на извѣстные умы, на извѣстные емпераменты. Гегель подчинялъ себѣ одинаково и мистика Кирѣевкаго, и положительнаго скептика Герцена, и нервнаго впечатлительнаго Бѣлинскаго, и флегматика Огарева. Въ гегеліанствѣ есть тихійная сила, какая—увидимъ ниже.

Толковали о Гегелѣ безпрестанно; нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ астяхъ «Логики», въ двухъ «Эстетики», «Энциклопедіи» и пр., оторый бы не былъ взятъ съ бою отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя ѣдѣли, несогласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», ринимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности и объ ея по ебѣ бытіи». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, ѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до ыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней.

Самый языкъ сталъ совершенно особенный, «птичій», какъ ыразился астрономъ Перевощиковъ.

«Никто,—говоритъ Герценъ,—не отрекся бы въ тѣ времена отъ одобной напр. фразы: «конкресцированіе абстрактныхъ идей въ сферѣ ластики представляетъ ту фазу самоищущаго духа, въ которой онъ тенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую еру образнаго сознанія въ красотѣ».

Языкъ портился, рядомъ съ этимъ шла другая ошибка, болѣе убокая.

«Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и нимание; отношеніе къ жизни, дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ торымъ такъ геніально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Въ самомъ дѣлѣ, непосредственное, всякое остое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тенью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все ло совершенно искренне. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Соньники, шелъ для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству его единства съ Космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ проявленіи.

Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена к своему порядку—гемюту—или къ «трагическому въ сердцѣ».

«То же въ искусствѣ... Знаніе Гёте, особенно второй част «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой или труднѣе ея), бы столько же обязательно, какъ имѣть платье. Разумѣется, объ Ро сини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и н ходили его дѣтскимъ и бѣднымъ; зато производили философск слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважал Шуберта, не столько, полагаю, за его превосходные напѣвы, сколь за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ, какъ «Всемогу щество Божіе» и «Атласъ». На ряду съ итальянской музыкой дѣли опалу и французская литература, и вообще все французское, по д рогѣ и политическое.

«Отсюда легко понять поле, на которомъ мы должны были н премѣнно встрѣтиться и сразиться. Пока пренія шли о томъ, ч Гёте объективенъ, но что его объективность субъективна, тогда ка Шиллеръ—поэтъ субъективный, но его субъективность объективн и наоборотъ—все шло мирно. Вопросы болѣе серьезные не замедли явиться.»

Не хотѣли знать и понимать того, что Гегель во время сво профессуры въ Берлинѣ, долею отъ старости и вдвое отъ довольст мѣстомъ и почетомъ, намѣренно взвинтилъ свою философію на земнымъ уровнемъ и держался въ средѣ, гдѣ всѣ современные инт ресы и страсти становятся довольно безразличны, какъ зданія села съ воздушнаго шара; онъ не любилъ зацѣпляться за эти пр клятые практическіе вопросы, съ которыми трудно ладить и на к торые надо было отвѣчать положительно. Настоящій Гегель бы тотъ скромный профессоръ іенскаго университета, другъ Гёльде лина, который спасъ подъ полой свою феноменологію, когда Нап леонъ вступалъ въ городъ; тогда его философія не вела ни к индійскому квіэтизму, ни къ оправданію существующихъ граждан скихъ формъ, ни къ прусскому протестантизму; тогда онъ не ч талъ своихъ лекцій о философіи религіи, а писалъ геніальныя веш вродѣ статьи о палачѣ и смертной казни.

Особенно вкривь и вкось толковалась фраза «все дѣйствител ное разумно», и на ней-то нѣмецкіе консерваторы стремились пр мирить философію съ политическимъ бытомъ Германіи, оправда реакціи и взнуздать молодежь, которая все еще нѣтъ-нѣтъ да и бр дила. Все дѣйствительное разумно — означало лишь то, что в имѣетъ достаточную причину для существованія, что въ жизни нѣ ничего случайнаго. Гегель имѣлъ полное право выразиться так

якъ онъ выразился, потому что единственная признаваемая имъ причина бытія есть разумъ. *Разумно* въ этомъ случаѣ означаетъ «исходить отъ разума». Не грѣша противъ духа гегелевской логики, можно перевернуть фразу и сказать: все существующее есть стадія развитія разума, проявленіе его жизни. На какомъ же основаніи нѣмецкіе консерваторы толковали разумно какъ «умно» и «необходимо», а иногда и «вѣчно» — это ихъ дѣло. Несомнѣнно, что иной разъ самому старику Гегелю бывало тяжело и совѣстно смотрѣть на недальновидность черезъ край удовлетворенныхъ учениковъ своихъ, а подчасъ—и не совсѣмъ честныхъ.

Герценъ проштудировалъ Гегеля, но въ кабалу къ нему не пошелъ. Не сразу — это хорошо видно изъ его философской переписки съ Огаревымъ — онъ понялъ, въ чемъ истинная суть гегеліанства, и нашелъ въ немъ оправданіе своихъ стремленій. Въ сущности на каждой страницѣ своей философіи Гегель твердитъ и повторяетъ, что въ жизни нѣтъ ничего вѣчнаго, несомнѣннаго, абсолютнаго, что все существующее только переходная стадія развитія. Остановка—это смерть. Въ своемъ извѣстномъ этюдѣ «Idealisme anglais» Тэнъ совершенно справедливо замѣчаетъ: «идея развитія (Entwickelung) или того, что мы называемъ «эволюція», была новой идеей Гегеля. Вся его философія служитъ ей, вся его философія—ея примѣненіе». Этой своей идеей гегеліанство завоевало себѣ мыслящій міръ; благодаря ей, оно породило широкое умственное движеніе и не умерло до сей поры. Въ ней впервые наукообразно съ послѣдовательностью и величіемъ геніальной мысли была формулирована система, являющаяся лучшимъ пріобрѣтеніемъ XIX-го вѣка.

Какъ не понимали этого? — Одни потому, что не хотѣли понимать, другіе искали оправданія для своего удаленія отъ жизни, третьихъ смущало ученіе Гегеля о личности. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ онъ на самомъ дѣлѣ, вольно или невольно, напуталъ больше всего. Какова роль личности въ жизни? Можетъ ли она что нибудь дѣлать, должна ли она что нибудь дѣлать? Отвѣты давались различные, всякій принималъ тотъ, который былъ ему наиболѣе по душѣ.

Когда Герценъ привыкъ къ языку Гегеля и овладѣлъ его методомъ, онъ разглядѣлъ, что Гегель гораздо ближе къ его воззрѣнію и темпераменту, чѣмъ къ воззрѣнію своихъ правовѣрныхъ послѣ-

дователей. Онъ — реформаторъ въ первыхъ своихъ сочиненіях
онъ—реформаторъ вездѣ, гдѣ его геній закусывалъ удила и нес
впередъ, забывая бранденбургскія ворота.

«Философія Гегеля,—заключаетъ Герценъ,—необыкновенно ос
бождаетъ человѣка и не оставляетъ камня на камнѣ отъ міра пр
даній, пережившихъ себя. Но она можетъ съ намѣреніемъ бы
дурно формулирована.

Даже безъ намѣренія.

Бѣлинскій, напр., самая дѣятельная, порывистая, діалектичес
страстная натура бойца, проповѣдывалъ въ началѣ 40-хъ годо
индійскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьб
Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ каки
послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ нравственнымъ прил
чіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, чего такъ страшатся люди сл
бые и несамобытные.

— Знаете ли, — сказалъ я ему однажды, — что съ вашей точ
зрѣнія вы можете доказать, что и чудовищный произволъ разуме
и долженъ существовать.

— Безъ всякаго сомнѣнія,—отвѣчалъ Бѣлинскій, и прочелъ м
«Бородинскую годовщину» Пушкина.

«Этого,—разсказывалъ Герценъ,—я не могъ вынести, и отчая
ный бой закипѣлъ между нами. Размолвка наша дѣйствовала
другихъ, и кругъ распадался на два стана. Бакунинъ хотѣлъ пр
мирить, объяснить, договорить, но настоящаго мира не было. Б
линскій раздраженный и недовольный уѣхалъ въ Петербургъ
оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, котор
такъ и назвалъ «Бородинской Годовщиной».

«Я прервалъ съ нимъ тогда всѣ отношенія. Бакунинъ хотя
спорилъ горячо, но сталъ призадумываться. Бѣлинскій упрека
его въ слабости, въ уступкахъ и доходилъ до такихъ преувелич
ныхъ крайностей, что пугалъ своихъ собственныхъ пріятелей и
читателей. Хоръ былъ за Бѣлинскаго и смотрѣлъ на насъ свысо
гордо пожимая плечами и находя насъ людьми отсталыми.»

Могло ли долго продолжаться такое страшное непониманіе? Ра
умѣется, нѣтъ. Бѣлинскому нужно было лишь время, чтобы о
маться, и по своему обыкновенію онъ первый протянулъ руку...

«Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда въ Петербургъ,
продолжаетъ Герценъ, — въ 1840 году пріѣхали и мы туда. Я
шелъ къ нему. Огареву моя ссора съ Бѣлинскимъ была очень пр
скорбна: онъ понималъ, что воззрѣнія Бѣлинскаго были переходн
болѣзнью, да и я понималъ, но Огаревъ былъ добрѣе. Наконецъ о
натянулъ своими письмами свиданіе. Наша встрѣча была холод
сначала непріятна, натянута, но ни Б., ни я мы не были боль
дипломаты; впродолженіе ничтожнаго разговора я помянулъ стат
о бородинской годовщинѣ. Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста

ыхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: «Ну, слава Богу, до-
ворились-же, а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ, какъ
чать... ваша взяла; три-четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше
бѣдили, чѣмъ всѣ доводы. Забудемте этотъ вздоръ. Довольно вамъ
казать, что на-дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго, тамъ былъ
женерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочетъ ли онъ со мной
знакомиться?—Это авторъ статьи о бородинской годовщинѣ? спро-
лъ его на ухо офицеръ.—Да.—Нѣтъ, покорно благодарю, отвѣчалъ
ъ. Я слышалъ все и не могъ вытерпѣть, пожалъ руку офицеру и
казалъ ему: «вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю...» Чего же
мъ больше? Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго мы шли съ
мъ рука объ руку.»

Бѣлинскій, Грановскій — вотъ люди, которыхъ неизмѣнно цѣ-
лъ Герценъ и въ сущности первый оцѣнилъ ихъ какъ слѣдовало.

«Въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ,— говорилъ онъ напр. о Бѣ-
нскомъ, — въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная гладіаторская
тура! да, это былъ сильный боецъ! онъ не умѣлъ проповѣдывать,
учать; ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздра-
енія онъ говорилъ не хорошо, но когда онъ чувствовалъ себя
авленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у
го начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ
адобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ
алъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и
дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ
ою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у
льного лилась изъ горла: блѣдный, задыхающійся, съ глазами,
тановленными на томъ, съ кѣмъ онъ говорилъ, онъ дрожащей
кой поднималъ платокъ ко рту и останавливался глубоко огор-
енный, униженный физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ
жалѣлъ его въ эти минуты!»

* *
*

Пребываніе Герцена въ Петербургѣ закончилось нѣсколько не-
иданно. Однажды уже возвращенный изъ ссылки, разъ помило-
анный и даже вновь зачисленный на службу, онъ былъ однако
къ же далекъ отъ гражданскаго благонравія, какъ и раньше.
училась глупая исторія: какой то будочникъ ограбилъ прохо-
го. Герценъ на эту тему разговаривалъ, описалъ даже случай
ъ письмѣ къ отцу. Этого было достаточно, чтобы III-е отдѣленіе
мсленно вмѣшалось въ дѣло. Начались свиданія съ Сахтын-
нымъ, Дуббельтомъ, Бенкендорфомъ, и въ результатѣ Герценъ
ыженъ былъ отправиться въ Новгородъ *совѣтникомъ губерн-
скаго правленія* и въ то же время *подъ надзоръ полиціи.*

Вообразить его себѣ въ мундирѣ совѣтника подписывающим бумаги—довольно трудно, и только онъ самъ можетъ помочь нам сдѣлать это. Приведу изъ его воспоминаній нѣсколько отрывков полныхъ такой желчи и такой безпощадной ироніи, что самъ Щ дринъ охотно подписался бы подъ ними.

«Когда я присмотрѣлся къ дѣламъ губернскаго правленія, увидѣлъ, что мое положеніе не только очень непріятно, но чрезв чайно опасно. Каждый совѣтникъ отвѣчалъ за свое отдѣленіе и д лилъ отвѣтственность за всѣ остальныя. Читать бумаги по всѣм отдѣленіямъ было рѣшительно невозможно, надо было подписыва на вѣру. Губернаторъ, послѣдовательный своему мнѣнію, что совѣ никъ никогда не долженъ совѣтывать, подписывалъ противно смысл и закону первый послѣ совѣтника того отдѣленія, по которому бы дѣло. Лично для меня это было превосходно; въ его подписи я н ходилъ нѣкоторую гарантію, потому что онъ дѣлилъ отвѣтственност и потому еще, что онъ часто съ особеннымъ выраженіемъ говори о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Ч касается до подписей другихъ совѣтниковъ, то онѣ мало успока вали. Люди эти были закаленные старые писцы, дослужившіеся д сятками лѣтъ до совѣтничества, жили они одной службой, т. однѣми взятками. Когда они поняли, что я не буду участвовать в въ дѣлежѣ общихъ доходовъ, ни самъ грабить, они стали на ме смотрѣть, какъ на непрошеннаго гостя и опаснаго свидѣтеля. О не очень сближались со мной, особенно когда разглядѣли, что друж между мной и губернаторомъ была очень умѣренная.

«Къ губернатору я отправился вскорѣ по пріѣздѣ въ Новгородъ перемѣна декорацій была удивительная. Въ Петербургѣ (я его тамъ видѣлъ) губернаторъ былъ въ гостяхъ, здѣсь—дома; онъ даже ростомъ, казалось мнѣ, былъ побольше въ Новгородѣ. Не вызванн ничѣмъ съ моей стороны, онъ счелъ нужнымъ сказать, что не те пить, чтобы совѣтники подавали голосъ и оставались при свое мнѣніи, что это задерживаетъ дѣло; что если что не такъ, то мож переговорить, а какъ на *мнѣнія* пойдетъ, то тотъ или другой долже подать въ отставку. Я, улыбаясь, замѣтилъ ему, что меня трудно ис гать отставкой, что отставка—единственная цѣль моей службы, и п бавилъ, что, пока горькая необходимость заставляетъ меня служить Новгородѣ, я вѣроятно не буду имѣть случая подавать своихъ мнѣн

«Съ подчиненными—столоначальниками—дѣло обстояло не луч Я сдѣлалъ многое для того, чтобы привязать ихъ, обращался учти помогалъ имъ денежно и довелъ только до того, что они перест меня слушаться; они только боялись совѣтниковъ, которые обра лись съ ними какъ съ мальчишками, и стали вполпьяна приход на службу. Это были бѣднѣйшіе люди, безъ всякаго образова безъ всякихъ надеждъ; вся поэтическая сторона ихъ существова ограничивалась маленькими трактирами и настойкой. По сво отдѣленію приходилось тоже быть на сторожѣ.»

Герцену досталось II-е отдѣленіе. Здѣсь вѣдались паспорты, всякіе циркуляры, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти, о раскольникахъ, фальшивыхъ монетчикахъ и людяхъ, находящихся подъ полицейскимъ надзоромъ—слѣдовательно, между прочимъ и о самомъ г. совѣтникѣ.

«Нелѣпѣе, глупѣе, — продолжаетъ онъ свой разсказъ, — ничего нельзя себѣ представить; я увѣренъ, что три четверти людей, которые прочтутъ это, не повѣрятъ, а между тѣмъ это сущая правда, что я, какъ совѣтникъ губернскаго правленія, управляющій вторымъ отдѣленіемъ, свидѣтельствовалъ каждые три мѣсяца рапортъ полиціймейстера *о себѣ самомъ*, какъ человѣкѣ, находящемся подъ полицейскимъ надзоромъ. Полиціймейстеръ изъ учтивости въ графѣ о поведеніи ничего не писалъ, а въ графѣ занятій ставилъ: «занимается государственной службой».

«Съ полгода вытянулъ я лямку въ губернскомъ правленіи, тяжело было и крайне скучно. Всякій день въ 11 часовъ утра надѣвалъ я мундиръ, прицѣплялъ стальную шпаженку и являлся въ присутствіе. Въ 12 приходилъ военный губернаторъ; не обращая никакого вниманія на совѣтниковъ, онъ шелъ прямо въ уголъ и тамъ ставилъ свою саблю, потомъ, посмотрѣвши въ окно и поправивъ волосы, онъ подходилъ къ своимъ кресламъ и кланялся присутствующимъ. Едва вахмистръ съ страшными сѣдыми усами, стоявшими перпендикулярно къ губамъ, торжественно отворялъ дверь и бряцанье сабли становилось слышно въ канцеляріи, совѣтники вставали оставались стоя въ особенномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока губернаторъ кланялся. Одно изъ первыхъ дѣйствій оппозиціи съ моей стороны состояло въ томъ, что я не принималъ участія въ этомъ сборномъ возстаніи и благочестивомъ ожиданіи, а спокойно сидѣлъ и кланялся ему тогда, когда онъ намъ кланялся.

«Большихъ преній, горячихъ разсужденій не было; рѣдко случалось, что совѣтникъ спрашивалъ предварительно мнѣніе губернатора, еще рѣже обращался губернаторъ съ дѣловымъ вопросомъ къ совѣтнику. Передъ каждымъ лежалъ ворохъ бумаги и каждый писалъ свое имя — это была фабрика подписей.

«Помня знаменитое изреченіе Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердіемъ и занимался дѣлами, насколько было нужно, чтобы не получить замѣчанія и не попасть въ бѣду. Но въ моемъ отдѣленіи было два рода дѣлъ, на которыя я не считалъ себя вправѣ смотрѣть такъ поверхностно: это были дѣла о раскольникахъ и злоупотребленіяхъ помѣщичьей власти.

. . . . . .

«Дѣла о раскольникахъ были такого рода, что всего лучше было совсѣмъ не подымать ихъ вновь; я ихъ просмотрѣлъ и оставилъ въ покоѣ. Напротивъ, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти слѣдовало сильно перетряхнуть; я сдѣлалъ все, что могъ, и одержалъ сколько побѣдъ на этомъ вязкомъ поприщѣ, освободилъ отъ пре-

слѣдованія одну молодую дѣвушку и отдалъ подъ опеку одного мо
ского офицера... Морякъ, заранѣе увѣренный, что дѣло о немъ ко
чится благополучно, какъ громомъ пораженный, явился послѣ ука
въ Новгородъ. Ему тотчасъ сказали, какъ что было; яростный оф
церъ собирался напасть на меня изъ-за угла, подкупить бурлако
и сдѣлать засаду, но, не привыкшій къ сухопутнымъ кампаніям
мирно скрылся въ какой-то уѣздный городъ. Это, кажется, единстве
ственная заслуга моя по служебной части.»

. . . . . .

Съ каждымъ днемъ потребность уйти изъ канцелярскаго мі
становилась сильнѣе. Наконецъ терпѣніе лопнуло.

«Разъ,—продолжаетъ Герценъ,—въ холодное зимнее утро пріѣ
жаю въ правленіе, въ передней стоитъ женщина, лѣтъ тридцат
крестьянка; увидѣвши меня въ мундирѣ, она бросилась передо мн
на колѣни и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Бари
ея Мусинъ-Пушкинъ ссылалъ ее съ мужемъ на поселеніе, ихъ сы
лѣтъ 10-ти оставался, она умоляла дозволить ей взять съ собою ди
Пока она мнѣ разсказывала дѣло, вошелъ военный губернаторъ,
указалъ ей на него и передалъ просьбу. Губернаторъ объяснилъ е
что дѣти старше 10-ти лѣтъ остаются у помѣщика. Мать, не пон
мая закона, продолжала просить, ему было скучно; женщина, цѣ
ляясь за его ноги, рыдала, и онъ сказалъ, грубо отталкивая ее о
себя: «да что ты за дура такая, вѣдь по-русски тебѣ говорятъ, ч
я ничего не могу сдѣлать, что-жъ ты пристаешь!»... Послѣ этого о
пошелъ твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ уголъ, гдѣ ставила
сабля...

И я пошелъ... съ меня было довольно... развѣ эта женщи
не приняла меня за одного изъ нихъ? Пора кончить комедію.

— Вы нездоровы?—спросилъ меня совѣтникъ Хлопинъ, пере
денный изъ Сибири за какіе-то грѣхи.

— Боленъ, — отвѣчалъ я, — всталъ, раскланялся и уѣхалъ.
тотъ же день написалъ я рапортъ о моей болѣзни, и съ тѣхъ по
нога моя не была въ губернскомъ правленіи. Потомъ я подалъ
отставку за болѣзнью. Отставку мнѣ Сенатъ далъ, присовокупи
къ ней чинъ надворнаго совѣтника; но Бенкендорфъ съ тѣмъ вмѣ
сообщилъ губернатору, что мнѣ запрещенъ въѣздъ въ столицы
велѣно жить въ Новгородѣ.»

Не надолго однако: въ іюлѣ 42-го года Герцену, по хлопота
Огарева, разрѣшили переѣхать въ Москву.

* * *

Такова внѣшняя сторона жизни за новгородскій періодъ.
же дѣлалось въ умѣ, сердцѣ? Гегель все это время продолжалъ бы

настольной книгой; сущность его великой философіи мало-по-малу освободилась изъ скорлупы тяжелой терминологіи, схоластическихъ періодовъ, двусмысленныхъ изреченій. Сердцевина стала ясной: Герцену подсказалъ ее темпераментъ. По Гегелю все—всякое явленіе жизни, всякое религіозное вѣрованіе, всякое государственное учрежденіе, всякій обычай, совершенно такъ же какъ и любая геологическая эпоха, были не чѣмъ инымъ, какъ «исторической категоріей»,—не чѣмъ инымъ, какъ звеномъ въ безконечной цѣпи развитія.

Подготовительный періодъ развитія кончился. Цѣлыхъ шесть лѣтъ въ Герценѣ неумолкаемо била мистическая струя, и хотя никогда не давалъ онъ ей простору, но все же присутствіе ея замѣтно на всѣхъ его думахъ, разговорахъ. Одиночество и тоска ссылки, убѣжденная вѣра жены, страстные порывы Витберга—все это подчиняло его себѣ. Но неужели «Wesen des Christenthums» Фейербаха могла оказать такое сильное вліяніе? Дайте эту книгу религіозному человѣку; все что онъ можетъ сдѣлать съ ней — это съ отвращеніемъ бросить въ уголъ. Но въ томъ-то и дѣло, что Герценъ былъ совершенно не религіозной натурой: его скептическій умъ и громадная самоувѣренность виноваты, быть можетъ, въ этомъ. Цѣлыхъ шесть лѣтъ онъ потратилъ на то, чтобъ *доказать разумомъ* безсмертіе души и бытіе личнаго Бога... Онъ не пришелъ ни къ чему: вѣдь схоластики занимались тѣмъ же 1000 лѣтъ и тоже не пришли ни къ чему.

Надо было вѣрить. Онъ не могъ, искалъ, мучался и постоянно чувствовалъ неловкость. Когда ему приходилось встрѣчаться съ истинно вѣрующими людьми, онъ, какъ умный человѣкъ, не могъ не замѣтить, что они тверже стоятъ на своей почвѣ безусловнаго признанія, чѣмъ онъ на своей—метафизическихъ тонкостей. Фейербахъ только помогъ ему выйти изъ этой путаницы и объяснилъ, что въ сущности означаютъ такія казуистическія изреченія Гегеля, какъ напр. «*личность* умираетъ, но *душа*—безсмертна»...

Гейне дѣлитъ людей на эллиновъ и іудеевъ. Первые — люди земли, понимающіе ея красоту и способные наслаждаться ею, вторые—отданы въ жертву своему порыву къ неземному, своему исканію безусловно совершеннаго и безусловно истиннаго. У эллина ясный, здоровый умъ, чуткое, открытое для внѣшнихъ впечатлѣній сердце; «іудей» тоскуетъ, и эта внутренняя тоска, эта постоянная неудовлетворенность закрываютъ отъ него красоту міра...

Герценъ былъ чистымъ эллиномъ. Изъ своихъ исканій и сомнѣ ній онъ вышелъ чистымъ позитивистомъ. Впослѣдствіи онъ видѣлъ въ мистикахъ лишь страдальцевъ, несъумѣвшихъ преобразовать свое страданіе въ протестъ и борьбу, но глубоко всосавшихъ его въ свое сердце. Онъ могъ уважать ихъ, но онъ не любилъ, а только жалѣлъ.

«Я—пишетъ онъ напр.—встрѣтилъ въ жизни много мистиковъ въ разныхъ родахъ, отъ Витберга и послѣдователей Товянскаго принимавшихъ Наполеона за военное воплощеніе Бога и снимавшихъ шляпу, проходя мимо Вандомской колонны, до забытаго теперь Мапа, который самъ мнѣ разсказывалъ свое свиданіе съ Богомъ, случившееся на дорогѣ между Монморанси и Парижемъ. Всѣ они большею частью люди нервные, дѣйствовали на нервы, поражали фантазію и сердце, мѣшали философскія понятія съ произвольной символикой и не любили выходить на *чистое поле* логики.»

Но, разумѣется, такой исходъ изъ сомнѣній не могъ хорошо отразиться на семейной жизни. Наталья Александровна — натура религіозная, экзальтированная, чудная въ минуты самоотреченія, тяжелая въ обыденныя, не приспособленная для счастья и инстинктивно ищущая страданія, какъ исцѣляющей и искупляющей силы, не могла не чувствовать, что ея роль въ жизни «кумира»-мужа кончена. Передъ ними лежали уже разныя дороги. Она любила Герцена попрежнему, быть можетъ, сильнѣе прежняго, но она чувствовала уже свою «духовную» ненужность для него. Пять лѣтъ прожили вмѣстѣ, но темпераментъ, натура оказались сильнѣе. Побѣдили *они*, не *она*...

«Разъ,—разсказываетъ Герценъ,—возвратился я домой поздно вечеромъ; она была уже въ постели, я взошелъ въ спальную. Я ходилъ молча по комнатѣ, перебирая слышанную мною непріятную новость, вдругъ мнѣ показалось, что Natalie плачетъ; я взялъ платокъ—онъ былъ совершенно измоченъ слезами. «Что съ тобой? спросилъ я, испуганный и потрясенный. Она взяла мою руку и голосомъ полнымъ слезъ, сказала мнѣ: «Другъ мой, я скажу тебѣ правду; можетъ это самолюбіе, эгоизмъ, сумасшествіе, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебѣ скучно — я понимаю это, оправдываю тебя, но мнѣ больно, больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебѣ меня жаль, но ты не знаешь, откуда тебя тоска, откуда это чувство пустоты: ты чувствуешь бѣдность твоей жизни, и въ самомъ дѣлѣ—*что я могу сдѣлать для тебя?*»

«Я былъ похожъ на человѣка, котораго вдругъ разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чѣмъ онъ совершенно проснулся, что то страшное: онъ уже напуганъ, дрожитъ, но не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Я былъ такъ вполнѣ покоенъ, такъ увѣренъ въ нашей полной

глубокой любви, что и не говорилъ объ этомъ; это было великое *подразумѣваемое* всей жизни нашей; покойное сознаніе, безпредѣльная увѣренность, исключающая сомнѣніе, даже неувѣренность въ себѣ — составляли основную стихію моего личнаго счастья. Покой, отдохновеніе, художественная сторона жизни, все это было какъ передъ нашей встрѣчей на кладбищѣ 9 мая 1838 г., такъ въ началѣ владимірской жизни — въ ней, въ ней и ней...

«Мое глубокое удивленіе, мое огорченіе сначала разсѣяли эти тучи, но черезъ мѣсяцъ, черезъ два онѣ стали возвращаться. Я успокаивалъ ее, утѣшалъ; она сама улыбалась надъ черными призраками, и вновь солнце освѣщало нашъ уголокъ; но только что я забывалъ ихъ, они опять подымали голову, совершенно ничѣмъ не вызванные, и когда они проходили, я впередъ боялся ихъ возвращенія.

«Таково было расположеніе духа, въ которомъ мы, въ іюлѣ 1842 года, переѣхали въ Москву.»

Въ сущности только съ 1842 года, т. е. съ переѣзда въ Москву, началась литературная дѣятельность Герцена. Годы исканія и броженія прошли; принимаясь теперь за перо, Герценъ уже твердо зналъ, что ему писать и во имя чего писать.

Въ Москвѣ онъ опять попалъ въ кружокъ, въ которомъ сосредоточились всѣ лучшія интеллигентныя силы Россіи того времени. Огаревъ, правда, большую часть времени находился за границей, но его мѣсто занялъ Грановскій. Изъ Петербурга наѣзжалъ Бѣлинскій.

«Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многосторонныхъ и чистыхъ, — вспоминалъ много лѣтъ спустя Герценъ,—я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ, ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго. А я много ѣздилъ, вездѣ жилъ и со всѣми жилъ: революціей меня прибило къ тѣмъ краямъ развитія, далѣе которыхъ ничего нѣтъ, и я по совѣсти долженъ повторить то же самое.»

Сороковые годы самые богатые и памятные въ умственномъ развитіи Россіи. Я уже говорилъ раньше, что это—годы перелома. Безбрежныя, какъ море, неопредѣленныя, какъ очертанія предметовъ въ сумерки, романтическія мечтанія закончились. Мысль выбралась на широкую, ясную дорогу и впервые сознала, куда она идетъ и что ей нужно. Она возненавидѣла крѣпостное право, повернулась за любовью и вдохновеніемъ къ народу и дала рѣшительную битву матери всѣхъ пороковъ,—національному самодовольству. Нужно ли говорить, что среди людей, сыгравшихъ эту громкую историческую роль, Бѣлинскій, Герценъ и Грановскій занимаютъ первое

мѣсто. Каждый изъ нихъ внесъ свое въ общее дѣло, каждый из нихъ дополнялъ другъ друга.

Личности Грановскаго намъ нельзя миновать, и мы сейчасъ ж познакомимся съ ней.

Грановскій былъ одаренъ удивительнымъ тактомъ сердца. него все было такъ далеко отъ неувѣренной въ себѣ раздражитель ности, такъ чисто, такъ открыто, что съ нимъ чувствуешь себя не обыкновенно легко. Онъ не стѣснялъ дружбой, а грѣлъ ею, вдохнов лялъ ею. Никто не помнитъ, чтобы Грановскій когда нибудь хот разъ въ письмѣ или разговорѣ дотронулся до тѣхъ нѣжныхъ, бѣ гущихъ отъ свѣта и шума, сторонъ, которыя есть у каждаго чело вѣка, жившаго въ самомъ дѣлѣ. Онъ былъ «добрый» въ широкомъ лучшемъ смыслѣ этого слова.

«Въ его любящей, покойной и снисходительной душѣ исчезал угловатыя распри и смягчался крикъ себялюбивой обидчивости Онъ былъ между нами звеномъ соединенія многаго и многихъ и част примирялъ въ симпатіи къ себѣ цѣлые кружки, враждовавшіе межд собой, и друзей, готовыхъ разойтись. Грановскій и Бѣлинскій вовсе не похожіе другъ на друга, принадлежали къ самымъ свѣт лымъ личностямъ нашего круга.»

Грановскій не былъ ни боецъ, какъ Бѣлинскій, ни діалектик какъ Бакунинъ. Его сила была не въ рѣзкой полемикѣ, не въ смѣ ломъ отрицаніи, а именно въ положительномъ нравственномъ влія ніи, въ безусловномъ довѣріи, которое онъ вселялъ, въ художествен ности его натуры, въ покойной ровности его духа, въ чистотѣ ег характера и въ постоянномъ глубокомъ протестѣ противъ всякаг насилія. Не только слова его дѣйствовали, но и его молчаніе: мысл его, не имѣя права высказаться, выступала такъ ярко въ чертах его лица, что ее трудно было не прочесть. Въ мрачную годину го неній на университетъ Грановскій съумѣлъ сохранить не только ка ѳедру, но и свой независимый образъ мыслей, и это потому, что в немъ съ рыцарской отвагой, съ полной преданностью страстнаг убѣжденія стройно сочетались: женская нѣжность, мягкость форм и какой-то особенный духъ примиренія.

«Грановскій—говоритъ Герценъ—напоминаетъ мнѣ рядъ задумчи во покойныхъ проповѣдниковъ временъ реформаціи, не тѣхъ бурныхъ грозныхъ, которые въ гнѣвѣ своемъ чувствуютъ вполнѣ свою жизнь какъ Лютеръ, а тѣхъ ясныхъ, кроткихъ, которые такъ же прост надѣвали вѣнокъ славы на свою голову, какъ и терновый вѣнок Они невозмущаемо тихо идутъ твердымъ шагомъ, но не топаютъ

людей этихъ боятся судьи, имъ съ ними неловко; ихъ примирительная улыбка оставляетъ по себѣ угрызенія совѣсти у самихъ палачей. Таковъ былъ Колиньи, лучшіе изъ жирондистовъ, и дѣйствительно Грановскій по всему строенію своей души, по ея романтическому складу, по нелюбви къ крайностямъ скорѣе былъ бы гугенотъ и жирондистъ, чѣмъ анабаптистъ и монтаньяръ.»

Развитіе Грановскаго шло мирно, покойно, органически. Воспитанный въ Орлѣ, онъ попалъ въ Петербургскій университетъ. Получая отъ отца мало денегъ, онъ съ молодыхъ лѣтъ долженъ былъ писать по подряду журнальныя статьи. Собственно бурнаго періода страстей и разгула въ его жизни не было. Послѣ курса педагогическій институтъ послалъ его въ Германію. Вернувшись оттуда, въ 1844 г. Грановскій началъ читать свои знаменитыя публичныя лекціи по средневѣковой исторіи Франціи и Англіи. «Лекціи Грановскаго,—сказалъ Чаадаевъ, выходя съ третьяго или четвертаго чтенія изъ аудиторіи, биткомъ набитой дамами и всѣмъ московскимъ свѣтскимъ обществомъ, — имѣютъ историческое значеніе». Это совершенно справедливо. Грановскій сдѣлалъ изъ аудиторіи гостиную, мѣсто свиданія, встрѣчи всего beau mond'а. Но для этого онъ не прикрасилъ исторіи, не наложилъ на нее ни румянъ, ни бѣлилъ — совсѣмъ напротивъ — его рѣчь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смѣлости и поэзіи, которыя мощно потрясали слушателей, будили ихъ. Смѣлость его сходила ему съ рукъ не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая была ему такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій à la française, ставящихъ огромныя точки на крошечныя *i* вродѣ нравоученій послѣ басни. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ ими, такъ что мысль, не высказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась тѣмъ знакомѣе слушателю, что она казалась его собственною мыслью.

«Заключеніе перваго курса—разсказываетъ Герценъ—было для него настоящей оваціей, вещью, неслыханной въ Московскомъ университетѣ. Когда онъ, оканчивая, глубокотронутый благодарилъ публику—все вскочило въ какомъ то опьяненіи: дамы махали платками, другія бросились къ каѳедрѣ, жали ему руки, требовали его портрета. Я самъ видѣлъ молодыхъ людей съ раскраснѣвшимися щеками, кричавшихъ сквозь слезы: «браво!» «браво!». Выйти не было возможности. Грановскій, блѣдный какъ полотно, сложа руки, стоялъ, слегка склоняя голову; ему хотѣлось сказать еще нѣсколько словъ, но онъ не могъ. Трескъ, вопль, неистовство одобренія удвоились; студенты построились на лѣстницѣ,—въ аудиторіи они предоставили

шумѣть гостямъ. Грановскій пробрался измученный въ совѣтъ; черезъ нѣсколько минутъ его увидѣли снова выходящаго изъ совѣта и снова безконечное рукоплесканіе; онъ воротился, прося рукой пощады и изнемогая отъ волненія... Я увидѣлъ его, бросился ему на шею и мы заплакали.»

Статьи Бѣлинскаго, Герцена, лекціи Грановскаго—все это будило, тревожило, звало впередъ. Всѣ трое работали дружно, въ томъ же направленіи. Въ какомъ? Вдохновенный чтеніями Грановскаго, Герценъ писалъ о нихъ изъ Москвы:

«Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ, ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ; онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ,—но не оскорбилъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества — далека была отъ его наукообразнаго взгляда: онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Мнѣ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое сильное участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умѣть во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человѣческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни застали, видѣть сквозь туманныя испаренія временнаго просвѣчиваніе вѣчнаго начала, т. е. вѣчной цѣли—великое дѣло для историка.»

Отсутствіе ненависти къ Западу и національнаго самохвальства, вмѣстѣ съ искренней, горячей любовью къ наукѣ, знанію, мысли—вотъ что одушевляло и самого профессора, и его блестящую аудиторію. Грановскаго обвиняли въ пристрастіи къ Западу; онъ отвѣчалъ на это: «я взялся читать часть его исторіи и не вижу, почему долженъ читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, *нѣтъ права не любить ея*».

Удивительную эпоху государственнаго самодовольства переживала тогда Россія. Она третировала Западъ, гордо увѣренная, что сильнѣе, богаче, нравственнѣе его. Она застыла въ старыхъ формахъ своей жизни и провозгласила ихъ совершенными. А въ это же время кучка людей, рискуя всѣмъ, продолжала твердить ей, что у насъ нѣтъ права не любить Европы, не учиться у нея...

Грановскій кончилъ грустно и рано. Его предсмертныя письма ›цену исполнены тоски...

«Положеніе наше—писалъ онъ въ 1850 г.—становится нестерпи- › день ото дня. Всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ ›снительной мѣрой. Доносы идутъ тысячами. Обо мнѣ втеченіе хъ мѣсяцевъ два раза собирали справки. Но что значитъ личная сность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ. Универ- еты предполагаютъ закрыть; теперь ограничились слѣдующими е приведенными въ исполненіе мѣрами: возвысили плату со сту- товъ и уменьшили ихъ число закономъ, по которому не можетъ ть въ университетѣ больше 300 студентовъ. Дворянскій институтъ рытъ, многимъ заведеніямъ грозитъ та же участь, напр. Лицею. кадетскихъ корпусовъ составлены новыя программы. Іезуиты авидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. щеннику предписано внушать кадетамъ, что величіе Христа за- очалось преимущественно въ покорности властямъ. Онъ выста- ется образцомъ подчиненія и дисциплины. Учитель исторіи дол- нъ разоблачать мишурныя добродѣтели древнихъ республикъ и казать величіе непонятой историками римской имперіи, которой оставало только одного — наслѣдственности... Есть съ чего сойти ума. Благо Бѣлинскому, умершему во время! Много порядочныхъ дей впали въ отчаяніе и съ тупымъ спокойствіемъ смотрятъ на исходящее — когда же развалится этотъ міръ? Я рѣшился не ти въ отставку и ждать на мѣстѣ совершенія судебъ. Кое что жно дѣлать. Пусть выгонятъ сами. Вчера пришло извѣстіе о смерти ахова, а на-дняхъ разнесся слухъ и о твоей смерти. Когда мнѣ азали это, я готовъ былъ хохотать отъ всей души. А впрочемъ,— мъ это было бы глупѣе остального?»

Но въ то время, до котораго мы довели нашъ разсказъ (1843 г.), ска не успѣла еще овладѣть Грановскимъ, вымотать его душу и адить за зеленый столъ рядомъ съ шулерами и рыцарями легкой живы. Онъ былъ молодъ, впереди, казалось, ожидало такъ много уда, славы, счастья. Даже въ своемъ университетскомъ кружкѣ ановскій находилъ поддержку и сочувствіе. Онъ былъ не одинъ, въ числѣ нѣсколькихъ молодыхъ профессоровъ, возвратившихся ъ Германіи въ періодъ 35—40 г.г. Всѣ они сильно двинули уни- рситетъ Московскій, и исторія ихъ не забудетъ. Люди добросовѣст- й учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали ъ именно въ то время, когда «остовъ діалектики сталъ обростать есомъ», когда наука перестала считать себя противоположною изни, когда Гансъ приходилъ на лекцію не съ древнимъ фоліан- омъ въ рукахъ, а съ послѣдней книжкой лондонскаго или париж- каго журнала. Діалектическимъ построеніемъ пробовали тогда рѣ-

шить историческіе вопросы въ современности: это было невозможн но привело факты къ болѣе свѣтлому сознанію. Молодые профе сора привезли съ собою эти завѣтныя мечты, горячую вѣру въ нау и людей; они сохранили весь пылъ юности, и каѳедры были д нихъ святыми налоями, съ которыхъ они были призваны благ вѣстить истину; они являлись въ аудиторіяхъ не цеховыми уч ными, а миссіонерами человѣческой религіи...

«И гдѣ — спрашиваетъ Герценъ — вся эта плеяда молодыхъ д центовъ, начиная съ лучшаго изъ нихъ — Грановскаго? Милый, бл стящій, умный, ученый Крюковъ умеръ лѣтъ 35 отъ роду. Эллинист Печоринъ побился-побился, не вытерпѣлъ и ушелъ безъ цѣли, бе средствъ, надломленный и больной, въ чужіе края, скитался бе пріютнымъ сиротой, сдѣлался іезуитомъ и жжетъ протестантскія б бліи въ Ирландіи. Рѣдкинъ служитъ въ министерствѣ внутренних дѣлъ и пишетъ статьи съ текстами... Крыловъ — но довольно... L toile, la toile!»

* * *

Кружокъ жилъ, работалъ, боролся. Онъ собирался чаще всего Герцена. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужиномъ и виномъ шел самый быстрый, самый дѣятельный обмѣнъ мыслей, знаній и но востей; каждый передавалъ прочтенное и узнанное; споры обобщал взглядъ, и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Н въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ одном искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попалось б кому нибудь на глаза и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ.

«Вотъ этотъ характеръ нашихъ сходокъ,—говоритъ Герценъ,—н понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видѣли мясо бутылки и не видѣли ничего другого. Пиръ ведетъ къ полнотѣ жизни люди воздержанные бываютъ обыкновенно сухіе, эгоистическіе люди Мы не были монахи, мы жили во всѣ стороны и, сидя за столомъ побольше развились и сдѣлали не меньше, чѣмъ эти постные труже ники, копающіеся на заднемъ дворѣ науки.»

Жизнь шла кипучая, веселая, дѣятельная; шла, повторяю, борьба. Рядомъ съ кружкомъ Грановскаго и Герцена были ихъ противники—московскіе славянофилы или, какъ ихъ называли, «славяне». Западники и славяне не столько не любили другъ друга, — напротивъ, въ личныхъ отношеніяхъ они часто бывали пріятелями, — сколько не понимали, да и не могли понять другъ друга.

Славянъ было много; это честные, умные, образованные люди,

ю безъ отчетливаго взгляда на жизнь, безъ опредѣленной программы. Они не держались на точкѣ зрѣнія исторіи, не спрашивали себя, что возможно и невозможно; какъ теперь Левъ Толстой, они проповѣдывали свое знаменитое «захотѣть»... Захотѣть, почувствовать и вернуться къ формамъ давно минувшаго быта, къ народу и его нравственнымъ и общественнымъ устоямъ, какъ будто это такъ же легко было сдѣлать, какъ надѣть вмѣсто платья сарафанъ, вмѣсто цилиндра—мурмолку, и пальто—охабень. Какіе бы мотивы ни руководили славянофилами, въ ихъ проповѣди было что то затхлое, измученное, какое-то плохо улегшееся страданіе. Вѣдь намъ не къ чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской Россіи бѣдна, уродлива, дика, а къ ней-то и звали славяне, хотя и не признавались въ этомъ. Но если *не звали*, то какъ же объяснить всѣ археологическія воскрешенія, поклоненія нравамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной одеждѣ крестьянъ, а къ стариннымъ неуклюжимъ *боярскимъ* костюмамъ? Во всей Россіи, кромѣ славянофиловъ, никто не носилъ мурмолокъ. К. Аксаковъ одѣлся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ разсказывалъ шутя Чаадаевъ.

«Возвращеніе къ народу—говоритъ Герценъ—«славяне» поняли такъ же грубо — въ томъ же родѣ, какъ большая часть западныхъ демократовъ, принимая его совсѣмъ готовымъ. Они полагали, что дѣлить предразсудки народа—значитъ быть съ нимъ въ единствѣ; что жертвовать своимъ разумомъ, вмѣсто того, чтобы развивать разумъ въ народѣ—великій актъ смиренія. Отсюда натянутая набожность, исполненіе обрядовъ, которые при наивной вѣрѣ трогательны, и оскорбительны, когда въ нихъ видна преднамѣренность. Лучшее доказательство, что возвращеніе славянъ къ народу не было дѣйствительнымъ, состоитъ въ томъ, что они не возбудили въ немъ никакого сочувствія.»

Я уже упоминалъ выше, что надъ К. Аксаковымъ, несмотря на его мурмолку, смѣялись на улицахъ, а мальчишки бѣгали за нимъ толпой. Мужичка не такъ-то легко соблазнить и привлечь на свою сторону, барствуя въ его роли. Онъ вѣдь скептикъ и себѣ на умѣ. Даже Л. Толстой, одѣтый въ его тулупъ, его армякъ и его рубаху, заслуживаетъ въ большинствѣ случаевъ отъ народа совсѣмъ равнодушное: «дѣло барское».

«Ошибка славянъ—продолжаетъ Герценъ—состояла въ томъ, что имъ кажется, будто Россія имѣла когда-то свойственное ей разви-

тіе, затемненное разными событіями и наконецъ петербургскимъ п ріодомъ. Россія никогда не имѣла этого развитія и не могла имѣт То, что приходитъ теперь къ сознанію у насъ; то, что начинает въ мысли, въ предчувствіи; то, что существовало безсознательно крестьянской избѣ и на полѣ,—то теперь только всходитъ на паж тяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потокомъ двадца поколѣній»...

«Это основы нашего быта—не воспоминанія, это живыя стих существующія не въ лѣтописяхъ, а въ настоящемъ, но онѣ толь уцѣлѣли подъ труднымъ историческимъ вырабатываніемъ госуда ственнаго единства и подъ государственнымъ гнетомъ только сохр нились, но не развились. Я даже сомнѣваюсь, нашлись ли бы вн тренія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, безъ п ріода европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ бы недостаточно. Въ Индіи до сихъ поръ и споконъ вѣка существуе сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на раздѣ полей; однако индійцы съ ней недалеко ушли. *Одна мощная мыс Запада, къ которой примыкаетъ вся исторія его, въ состояніи опл дотворить зародыши, дремлющіе въ патріархальномъ быту слав скомъ.* Артель и сельская община, ростъ прибытка и раздѣлъ поле мірская сходка и соединеніе селъ въ волости, управляющіяся са собой,—все это краеугольные камни, на которыхъ созиждется хр мина нашего будущаго свободно общиннаго быта. Но эти краеугол ные камни—все же камни... и безъ западной мысли должны остать при одномъ фундаментѣ... Такова судьба всего истинно соціальна оно невольно влечетъ къ круговой порукѣ народовъ... Отчуждая обособляясь, одни остаются при дикомъ общинномъ бытѣ, другіе п отвлеченной мысли коммунизма.»

Круговая порука народовъ, западная могучая мысль, оплод творяющая общинныя формы быта, свобода мысли и разума почвѣ экономической обезпеченности—эту-то программу против ставлялъ кружокъ Герцена славянофильской. Споръ, какъ вид происходилъ не изъ пустяковъ, и каждое слово сыграло свою ист рическую роль. Въ сознаніи нарождался манифестъ 19-го февра и онъ-то, добавленный и расширенный судебными, администрати ными и народно-образовательными реформами, удѣлилъ западн честву значительную дозу будущаго.

Но и «славяне» не были разбиты совсѣмъ на голову. Ихъ пр повѣдь тоже не безъ камня краеугольнаго, ихъ идеи не безъ опл дотвореннаго сѣмени. Дѣло не въ охабняхъ, дѣло не въ мурмолках а въ вопросѣ — неужели же выбросить въ бездну прошлаго вс чѣмъ жили двадцать поколѣній? Это по меньшей мѣрѣ не разсче ливо. Отдѣлить добро отъ зла, свято сохранить все доброе, бе

колебаній, мужественно разстаться со всѣмъ злымъ, чернымъ, войти въ историческую жизнь Европы съ запасомъ *своего* опыта, *своихъ* впечатлѣній, *своихъ* формъ жизни—вотъ то примиреніе противорѣчій, на которомъ, казалось, могли бы сойтись обѣ партіи. Онѣ и сошлись на самомъ дѣлѣ, хотя въ лицѣ лишь немногихъ лучшихъ своихъ представителей.

* * *

Борьба проникала и внутрь кружка. Въ немъ были слишкомъ живые, впечатлительные люди, чтобы отлить свою мысль въ какую нибудь опредѣленную форму и сотворить себѣ изъ нея кумиръ. Индивидуальности, несмотря на общность главныхъ убѣжденій, проявлялись рѣзко. Это вело къ размолвкамъ, иногда къ разладу. Герценъ опредѣлился скорѣе, отчетливѣе и непримиримѣе другихъ. Зная его натуру, его характеръ,—это можно было ожидать.

Черезъ три-четыре года по возвращеніи въ Москву онъ самъ съ глубокой горестью сталъ замѣчать, что, идучи изъ однихъ и тѣхъ же началъ, друзья приходили къ разнымъ выводамъ, и это не потому, что разно понимались начала, а потому, что выводы не одинаково всѣмъ нравились. Сначала споры шли полушутя, но уже по нѣкоторымъ рѣзкимъ фразамъ, вырывавшимся у спорящихъ, можно было догадаться, что на шуткахъ дѣло не остановится. Споръ ни больше, ни меньше происходилъ на почвѣ вѣчныхъ вопросовъ о безсмертіи души и существованіи Бога...

«Эти вопросы,—говоритъ Герценъ,—тѣ гранитные камни преткновенія на дорогѣ знанія, которые во всѣ времена были одни и тѣ же, пугали людей и манили къ себѣ. И такъ, какъ либерализмъ, послѣдовательно проведенный, непремѣнно поставитъ человѣка лицомъ къ лицу съ соціальнымъ вопросомъ, такъ наука, если только ввѣриться ей безъ якоря,—непремѣнно прибьетъ его своими волнами къ сѣдымъ утесамъ, о которые бились, отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля, всѣ дерзавшіе думать.»

Кромѣ Бѣлинскаго, Герценъ теоретически расходился со всѣми—особенно съ Грановскимъ и Кетчеромъ. Произошла непріятная сцена.

Это случилось въ 1846 г., когда почти весь кружокъ въ полномъ своемъ составѣ гостилъ у Герцена въ Соколовѣ.

«Первое время послѣ пріѣзда друзей—читаемъ мы въ «Быломъ и думахъ»—прошло въ чаду и одушевленіи праздниковъ; не успѣли мы миновать, какъ занемогъ мой отецъ. Его кончина, хлопоты,

дѣла—все это отвлекало отъ теоретическихъ вопросовъ. Въ тиши со коловской жизни наши разногласія должны были придти къ слову Огаревъ, не видѣвшій меня четыре года, былъ совершенно въ томъ ж направленіи, какъ я (т. е. въ отрицательномъ). Мы разными путям прошли тѣ же пространства и очутились вмѣстѣ. Споры становилис чаще, возвращались на тысячу ладовъ. Разъ мы обѣдали въ саду Грановскій читалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» одно изъ моих писемъ объ изученіи природы, и былъ имъ чрезвычайно доволен

— Да что же тебѣ нравится,—спросилъ я его,—неужели одна на ружная отдѣлка? Съ внутреннимъ смысломъ его ты не можешь быт согласенъ.

— Твои мнѣнія,—отвѣтилъ Грановскій,—точно такъ-же историч скій моментъ въ наукѣ мышленія, какъ и самыя писанія энцикло педистовъ. Мнѣ въ твоихъ статьяхъ нравится то, что мнѣ нравитс въ Вольтерѣ или Дидро; они живо, рѣзко затрогиваютъ такіе во просы, которые будятъ человѣка и толкаютъ впередъ, ну, а во во односторонности твоего воззрѣнія я не хочу вдаваться. Развѣ кт нибудь говоритъ теперь о теоріяхъ Вольтера?

— Неужели же нѣтъ никакого мѣрила истины и мы будимъ лю дей лишь для того, чтобы сказать имъ пустяки?

Такъ продолжался довольно долго разговоръ. Наконецъ я зам тилъ, что развитіе науки, что современное состояніе ея обязывает насъ къ принятію кое-какихъ истинъ независимо отъ того, хотимъ л мы, или нѣтъ; что однажды узнанныя, онѣ перестаютъ быть истор ческими загадками, а становятся неопровержимыми истинами, фа тами сознанія, какъ Евклидовы теоремы, какъ Кеплеровы законы какъ нераздѣльность причины и дѣйствія, духа и матеріи.

— Все это такъ мало обязательно, — возразилъ Грановскій, н много измѣняясь въ лицѣ,—что я никогда не приму вашей сухо холодной мысли единства тѣла и духа; съ ней исчезаетъ безсмерт души. Можетъ быть его не надобно, но я такъ много схоронил чтобы поступиться этой вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходим

— Славно было бы жить на свѣтѣ,—сказалъ я,—еслибы все т что кому нибудь надобно, сейчасъ и было тутъ какъ тутъ на манер сказокъ.

— Подумай, Грановскій,—прибавилъ Огаревъ,—вѣдь это свое рода бѣгство отъ несчастія.

— Послушайте,—возразилъ Грановскій, блѣдный и придавая се видъ посторонняго,—вы меня искренне обяжете, если не будете н когда говорить со мной объ этихъ предметахъ; мало ли есть веш занимательныхъ и о которыхъ говорить гораздо полезнѣе и пріятн

— Изволь, съ величайшимъ удовольствіемъ!—сказалъ я, чувств холодъ на лицѣ. Огаревъ промолчалъ. Мы всѣ взглянули другъ друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы слишко любили другъ друга, чтобы не вымѣрить вполнѣ, что произошло»

Произошло на самомъ дѣлѣ нѣчто серьезное и грустное. Бы можетъ Герценъ былъ слишкомъ рѣзокъ и колокъ въ своихъ отв

тахъ, не съумѣлъ пощадить Грановскаго въ эту минуту, но онъ безусловно правъ по существу. Неужели же у себя, въ своемъ кружкѣ, среди родныхъ и близкихъ, надо еще спрашивать, что и какъ говорить? Это уже слишкомъ обидно, слишкомъ больно. Если бы еще было неминуемое дѣло, которое бы совершенно поглощало всѣхъ, тогда ради осуществленія можно бы уступить. Но здѣсь исключительно сфера мысли, убѣжденій, «гдѣ лишь абсолютная свобода порождаетъ истину».

Прошло немного лѣтъ — Грановскій приблизился къ Герцену, хотя ему пришлось за эти немногіе годы схоронить еще больше и утерять почти все. Онъ понялъ, что утѣшеніе оттуда, откуда онъ ждалъ его, придти не можетъ. Онъ сдался. Но въ *ту* минуту дѣло оказалось непоправимымъ.

«Трещина,—говоритъ Герценъ,—которую дала одна изъ стѣнъ нашей дружеской храмины, увеличивалась, какъ всегда бываетъ, мелочами, недоразумѣніями, ненужной откровенностью тамъ, гдѣ лучше было бы молчать, и вреднымъ молчаніемъ тамъ, гдѣ необходимо было говорить.»

Огаревъ и Герценъ опять остались одни. Ихъ дружба не боялась ни вѣтра, ни трещинъ, ни испытанія.

Грановскаго, Станкевича, Кирѣевскаго, словомъ—одинъ изъ идеалистовъ тридцатыхъ годовъ, не больше. И дѣйствительно, романтическая струя не замолкала въ немъ очень долго. Его восторженное отношеніе къ Европѣ до 48-го года, къ итальянскому движенію, къ Гарибальди и Маццини, и даже позже къ Россіи временъ освобожденія или, лучше, къ Россіи будущаго, которой будто бы легче, чѣмъ любой европейской странѣ, разрѣшить соціальный вопросъ—все это роднитъ его съ современниками, какъ истиннаго сына тридцатыхъ годовъ. Но въ немъ рано проявилась другая струна, и ея-то дрожаніе, ея-то звуки сдѣлали, по моему убѣжденію, изъ Герцена крупную, оригинальную и историческую величину. Темпераментъ положилъ начало новизнѣ его міросозерцанія. Когда онъ, ребенокъ, на вопросъ о томъ, какую онъ читаетъ книгу, не задумавшись, говоритъ «зоологію» вмѣсто «генеалогіи» или при словахъ одного изъ гостей, что тотъ предпочитаетъ ѣсть постное, приводитъ извѣстный стихъ: «родъ ословъ къ сухоядѣнью склоненъ», вы уже чувствуете особенную складку его ума, наклоннаго къ ироніи, къ скептицизму. Онъ узнаетъ, что онъ незаконный, и это даетъ новый толчокъ развитію другой, неромантической стороны его мыслей, чувствъ, настроенія.

Изъ предыдущихъ страницъ я нарочно выкинулъ строки о вліяніи на Герцена одного изъ его родственниковъ, фигурирующаго въ «Быломъ и Думахъ» подъ именемъ «Химика». Я приведу эти строки здѣсь и, хотя нарушу этимъ хронологическую послѣдовательность разсказа, но выиграю вѣроятно въ ясности.

Отецъ *) Химика былъ старый деспотъ и развратникъ, окруженный гаремомъ изъ дворовыхъ. Онъ страшно тѣснилъ сына и даже ревновалъ его къ своему сераю. Химикъ хотѣлъ разъ отдѣлаться отъ этой неблаговидной жизни опіемъ; его спасъ случайно товарищъ, съ которымъ онъ занимался химіей. Отецъ перепугался и сталъ посмирнѣе. Послѣ его смерти Химикъ далъ отпускную всѣмъ одалискамъ, содержавшимся въ то время взаперти въ барскихъ покояхъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ крестьянъ, простилъ всѣ недоимки и занялся химіей.

*) Это былъ старшій братъ Ивана Александровича Яковлева; будущая жена Герцена Наталія Александровна—одна изъ его незаконныхъ дочерей, слѣдовательно сестра Химика.

Жилъ онъ чрезвычайно своеобразно; въ большомъ своемъ домѣ на Тверской занималъ одну комнату для себя и одну для лабораторіи. Остальное помѣщеніе было заколочено и запущено. Почернѣвшіе канделябры, необыкновенная мебель, всякія рѣдкости, рамы безъ картинъ и картины безъ рамъ—все это наполняло три огромныя старинныя залы, нетопленныя и неосвѣщенныя. При появленіи гостя человѣкъ провожалъ его съ зажженной свѣчей въ рукахъ, предупредивъ сначала, что платья снимать не надобно, такъ какъ въ залахъ очень холодно. Рядомъ этихъ комнатъ достигалась наконецъ дверь, завѣшанная ковромъ, которая вела въ страшно натопленный кабинетъ. Здѣсь химикъ въ грязномъ халатѣ на бѣличьемъ мѣху сидѣлъ безвыходно, обложенный книгами, обставленный стклянками, ретортами, тигелями, снарядами.

Какъ, путемъ какой комбинаціи протестующихъ элементовъ души, отвращенія къ рабству, разочарованія въ общественной дѣятельности создался такой «типъ»—Богъ вѣсть, но химикъ, на самомъ дѣлѣ, былъ типомъ, съ цѣльными взглядами, цѣльнымъ міросозерцаніемъ. Ничего романтическаго, ничего такого, чего нельзя было бы провѣрить опытами, добыть въ ретортѣ, разложить на элементы—было его девизомъ. Въ эпоху увлеченія Шеллингомъ онъ съ пренебреженіемъ закрылъ сочиненія натуръ-философовъ, презрительно говоря о нихъ: «сами выдумали первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ нельзя найти, и мудрятъ, мудрятъ, мудрятъ»... Человѣкъ въ его глазахъ былъ не болѣе какъ далеко несовершенно устроенной химической лабораторіей, который такъ же мало можетъ отвѣчать за содѣянное имъ добро и зло, какъ звѣрь. Все—дѣло организаціи, обстоятельствъ, устройства нервной системы. Изящныя искусства онъ презиралъ, называя ихъ пустяками. Въ 1846 г., когда Герценъ началъ входить въ моду послѣ первой части «Кто виноватъ?», химикъ написалъ ему письмо, въ которомъ говорилъ, что ему грустно видѣть, какъ Герценъ тратитъ свой талантъ на пустяки. «Я съ вами помирился,—писалъ онъ,—за ваши «Письма объ изученіи природы»; въ нихъ я понялъ (насколько человѣческому уму можно понимать) нѣмецкую философію,—зачѣмъ же вмѣсто продолженія серьезнаго труда вы пишете *сказки?*»

Съ самаго начала своего знакомства съ Герценомъ, химикъ убѣждалъ его бросить пустыя занятія литературой и политикой и при-

няться за естественныя науки. Онъ далъ мальчику рѣчь Кювье о геологическихъ переворотахъ и растительную органографію Декандоля. Видя, что чтеніе идетъ на пользу, онъ предложилъ свои превосходныя коллекціи и даже свое руководство. И хотя Герценъ по своему темпераменту не могъ согласиться съ выводами химика и горячо отстаивалъ мечты объ общемъ счастьѣ, — это не помѣшало ему пристраститься къ естественнымъ наукамъ и поступить на математическій факультетъ.

Изъ рѣчей химика на него пахнула здоровая струя реализма.

Химикъ своими разговорами, хотя и рѣдкими, бросилъ зерно на богато подготовленную самой природой почву. Онъ не могъ своротить Герцена на свой путь, но онъ уяснилъ ему его собственный. Онъ внушалъ ему уваженіе къ положительной, точной наукѣ, онъ подсказалъ ему мысль, что есть истины, обязательныя для человѣка, какъ таковаго, нравятся ли онѣ ему или нѣтъ—безразлично, и что самая исторія и жизнь общества, какъ и природа, могутъ и должны быть предметомъ точнаго научнаго изслѣдованія. Если изъ Герцена не вышло человѣка науки—то не химикъ виноватъ въ этомъ. Онъ съ своей стороны сдѣлалъ все, что могъ, чтобы повернуть горячаго талантливаго юношу на единственный, по его мнѣнію, истинный путь. Герценъ, по своему обыкновенію, взялъ отъ него все, что тотъ могъ дать, и пошелъ своей дорогой. Онъ былъ слишкомъ сильной и искренней натурой, чтобы дѣйствовать и говорить съ чужого голоса—не отъ себя.

Какъ бы то ни было, первыя крупицы положительнаго міросозерцанія, или того, что, тридцать лѣтъ спустя, стало называться реализмомъ, проникли въ его сознаніе. Отчасти подъ вліяніемъ химика онъ поступилъ на естественный факультетъ, но совсѣмъ противно его вліянію занялся пропагандой политическихъ идей и сенъ-симонизмомъ. Темпераментъ всю жизнь неотразимо тянулъ его къ борьбѣ, и именно на общественной почвѣ.

Ссылка, близость къ религіозной кузинѣ и Витбергу временно настроили Герцена на мистическій ладъ, но эта полоса въ жизни не характерна для него. Религіозное чувство только шевельнулось въ немъ, но не стало настолько сильнымъ и могучимъ, чтобы подчинить себѣ все остальное. Также мало характерно увлеченіе метафизикой. Вѣдь чѣмъ бы ни увлекался Герценъ, къ какому бы краю умственнаго движенія ни прибивали его обстоятельства, онъ изъ

всего выходилъ самъ собой. Въ Вяткѣ, слушая восторженныя мистическія рѣчи Витберга, какъ бы присутствуя при созданіи величественнаго храма, часто «готовый молиться и плакать», влюбленный въ экзальтированную и религіозную дѣвушку, Герценъ все же не могъ отрѣшиться ни отъ себя, ни отъ темперамента. Онъ съ грустью вспоминалъ впослѣдствіи, что съ Витбергомъ нельзя было поднимать никакихъ политическихъ и общественныхъ вопросовъ. Въ Новгородѣ онъ прочелъ гегеліанцевъ, быстро примкнулъ къ ихъ лѣвой сторонѣ, породнившейся съ точной наукой и положительной философіей. Фейербахъ училъ о единствѣ матеріи и духа, о томъ, что о сущности мы можемъ судить лишь по ея проявленіямъ. Герценъ воспринялъ это ученіе: его скептическій умъ, его политическій темпераментъ требовали этого.

Мнѣ кажется, что, объясняя различныя настроенія, пережитыя Герценомъ, критики придаютъ имъ слишкомъ серьезное значеніе, и потому подробно останавливаются на обстоятельствахъ, которыя приводили его то къ мистицизму, то къ метафизикѣ, то къ радикализму. Разумѣется, ссылка, частныя свиданія съ Дуббельтомъ и пр.—все это сыграло свою роль, и не упомянуть объ этомъ нельзя, но все же я иначе понимаю смыслъ біографіи Герцена. Мнѣ лично представляется особенно важнымъ прослѣдить, какъ Герценъ, увлекаясь то тѣмъ, то другимъ, все же никогда не забывалъ самого себя, и какъ его темпераментъ постоянно одерживалъ побѣды надъ различными настроеніями, какъ струя положительнаго мышленія не высякала въ немъ и проявилась наконецъ въ рѣзкой, опредѣленной формѣ. Наши дѣды дѣлали крупную ошибку, не придавая никакого значенія обстоятельствамъ и объясняя все «изнутри человѣка»; мы повидимому склонны впасть въ другую крайность и переоцѣнивать вліяніе обстоятельствъ. Внутренній человѣкъ, т. е. совокупность данныхъ, полученныхъ имъ по наслѣдству, значитъ удивительно много. На долю Герцена выпало рѣдкое счастье никогда не измѣнить этому внутреннему человѣку, а лишь «отходить» отъ него то въ ту, то въ другую сторону, но никогда—слишкомъ далеко. Мы, интеллигентные люди, сильно подвержены иллюзіи. Прежде чѣмъ найти свою дорогу, мы долгіе годы бродимъ тамъ и сямъ, наряжаемся въ разныя неподходящія одежды, беремся не за свои дѣла. Случается, что человѣкъ, умирая, задаетъ себѣ вопросъ, зачѣмъ онъ жилъ? Этотъ вопросъ можетъ быть мучительнымъ лишь въ томъ

случаѣ, если всю жизнь человѣкъ не съумѣлъ опредѣлить самог себя и свое призваніе. Въ противномъ случаѣ онъ почти невозмо женъ. Герценъ опредѣлился еще ребенкомъ. Сила и искренност его темперамента поразительны, и эта сила, эта искренность—луч шее наслѣдство, полученное имъ отъ отца. Съ этой точки зрѣні любопытно прослѣдить его литературныя работы.

Когда онъ началъ печататься, мы не знаемъ; первую же статьк подъ его обычнымъ псевдонимомъ «Искандеръ», мы находимъ в 33-мъ № «Телескопа» за 1836 г., когда Герценъ былъ уже въ Вятк и слѣдовательно «въ мистической фазѣ своего міросозерцанія Статья была посвящена Гофману—одному изъ послѣднихъ мог канъ нѣмецкаго романтизма. Повидимому, здѣсь Герценъ вполн заплатилъ дань своему времени, явившись такимъ же поклонні комъ Гофмана, какими были всѣ юноши тридцатыхъ годовъ. В статьѣ вы встрѣчаете цѣлый рядъ восторженныхъ восклицаній, з частую даже неискреннихъ.

Въ своихъ восторгахъ и восклицаніяхъ Герценъ очевидно идет по проторенной дорожкѣ. Онъ повторяетъ лишь слова Станкевич Но уже и въ этой юной статьѣ Герценъ не ограничивается одним романтическими пареніями. Среди разныхъ превыспреннихъ сант ментальностей вы наталкиваетесь на мысли совершенно иного скла и видите въ нихъ задатки будущаго Герцена, и это въ то вре (1836 г.), когда германская философія и романтическая поэзія з нимали въ міросозерцаніи русской интеллигенціи мѣсто религі Между тѣмъ трезвая мысль Герцена освобождается отъ чуждаго вліянія и идетъ своей дорогой. Замѣчательна самая постройка стат Герценъ началъ съ частныхъ фактовъ, съ біографіи Гофмана, ж лая объяснить его идеи его жизнью. Онъ держится историческа реальнаго метода, наперекоръ всеобщему увлеченію абстракціям сущностями и метафизическими построеніями. Онъ постоянно ук зываетъ на тѣсную зависимость литературныхъ направленій о обстоятельствъ эпохи, когда они процвѣтаютъ. Еще яснѣе то же реализмъ отразился во второй части «Записокъ одного мо дого человѣка» (написанныхъ въ 1838 г. и появившихся въ «О чественныхъ Запискахъ» въ 1840 и 1842 г.г.). Герценъ закан ваетъ «Записки» словами:

«Мы должны сознаться, что жизнь германскихъ поэтовъ и слителей чрезвычайно одностороння; я не знаю ни одной германс

біографіи, которая не была бы проникнута филистерствомъ. Въ нихъ при всей космополитической всеобщности недостаетъ цѣлаго элемента человѣчности—*именно практической жизни*, и хоть они очень много пишутъ, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже самое то, что они пишутъ о ней, а не живутъ ею, доказываетъ ихъ абстрактность. Просимъ вспомнить для того, чтобы ясно увидѣть необъятное разстояніе между ними и людьми жизни, — біографію Байрона.»

Практическая жизнь въ этихъ строкахъ оказывается необходимымъ элементомъ человѣчности. Въ 60-хъ годахъ эти слова были на языкѣ у всѣхъ; въ сороковыхъ ихъ говорилъ *одинъ* Герценъ, и когда же? Въ самый разгаръ дружбы съ Витбергомъ и переписки съ Натальей Александровной.

«Статья «Еще изъ записокъ молодого человѣка»,—говоритъ А. М. Скабичевскій,—была какъ бы перчаткой, которую Герценъ намѣревался бросить друзьямъ Станкевича изъ своего далека. Напечатана эта статья была въ «Отечественныхъ Запискахъ», правда, тогда, когда Бѣлинскій самъ началъ уже колебаться въ своихъ московскихъ мнѣніяхъ, и такимъ образомъ она немного опоздала своимъ появленіемъ, явившись бомбою, упавшей на поле, очищенное непріятелемъ. Но тѣмъ не менѣе, во всякомъ случаѣ, она замѣчательна, какъ противоположный полюсъ, противовѣсъ относительно статей Бѣлинскаго въ «Московскомъ Наблюдателѣ», какъ первое заявленіе въ печати о выходѣ изъ мрака среднихъ вѣковъ, отвлеченной схоластики и примирительнаго квіэтизма—на свѣжій воздухъ и свѣтъ.»

Рискуя утомить читателя, я попрошу его однако прослѣдить дальше развитіе реализма Герцена — этой живой струи, которой онъ не малые годы былъ единственнымъ представителемъ въ нашей литературѣ. Вѣдь отсюда проистекло все лучшее послѣдующее. Герценъ мечтаетъ о *цѣльномъ* человѣкѣ, онъ твердитъ на разные лады, что общественная практическая жизнь необходима для полноты существованія, что нѣтъ спасенія въ романтическомъ буддизмѣ, въ созерцаніи, въ удаленіи отъ дѣйствительности. Жить—значитъ работать и стремиться, а не «грезить», какъ того требовалъ Шлегель и какъ бы грезы ни были пріятны...

Съ 42-го года Герценъ окончательно примкнулъ къ литературному цеху. Чуждое его натурѣ мистическое настроеніе разлетѣлось, какъ дымъ. Онъ, пройдя черезъ всѣ лабиринты гегелевской философіи, вышелъ изъ нихъ закаленный въ борьбѣ съ ея трудностями, въ всеоружіи строгой и могучей логики. Жизнь не мѣшала ему;

напротивъ, въ это время она обставила его всѣми удобствами, дал ему семейное счастье, товарищей, полное матеріальное обезпеченіе Грѣшно было бы Герцену съ его огромнымъ талантомъ не воспол зоваться всѣмъ этимъ. И на самомъ дѣлѣ, за какихъ нибудь пя лѣтъ появились «Письма объ изученіи природы», «Изъ записок доктора Крупова», «Кто виноватъ?», «Капризы и раздумье» — еще много другихъ произведеній, одинаково умныхъ, оригинальных

Разнообразіе Герцена замѣчательно. Въ своихъ статьяхъ, рома нахъ, замѣткахъ онъ касается всѣхъ сторонъ жизни. Онъ проп вѣдуетъ точную науку и положительное знаніе, говоритъ о нра ственности, о семейныхъ отношеніяхъ и смѣло подступаетъ къ р ковой загадкѣ: почему же такъ тосклива жизнь, почему она уто ляетъ однихъ, выбрасываетъ за бортъ другихъ, почему любовь приноситъ счастья, а развитіе даетъ возможность увидѣть ли мерзость окружающаго?

«Когда я хожу по улицамъ,—пишетъ Герценъ,—особенно позд вечеромъ, когда все тихо, мрачно и только кое-гдѣ свѣтится ночн тухнущая лампа, догорающая свѣча,—на меня находитъ ужасъ: каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣют горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не вѣдаетъ, слезы обмануты надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрова но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. Почему

Жизнь представляетъ изъ себя путаницу и даже жестокую п таницу, потому что отношенія людей между собой, ихъ нравстве ныя понятія, ихъ взгляды на смыслъ и строй бытія исполнены н примиримыхъ, подчасъ мучительныхъ противорѣчій. Они, эти пр тиворѣчія, прокрались во всѣ наши убѣжденія, исказили весь нра ственный бытъ. Они упорны, какъ всѣ явленія полусознательн и, слѣдовательно, полусостоящія въ волѣ человѣка (человѣкъ дѣ ствительно свободенъ только въ томъ, что вполнѣ понимаетъ); о трудно уловимы, безпрестанно мѣняютъ платье, форму, языкъ, временамъ до того притихаютъ, что становятся незамѣтными, преупорно остаются при своей задней или, лучше, дряхлой мысл Тѣмъ опаснѣе эти противорѣчія, что они постоянно скрыты за т маномъ внутреннихъ чувствъ, что они избѣгаютъ рѣзко высказа наго имени, что наконецъ знамя, выставляемое ими съ величайш добросовѣстностью, прикрываетъ совсѣмъ иное содержаніе. Рядо такихъ противорѣчій, утомительныхъ, ироническихъ, оскорбите ныхъ, проходитъ озабоченное человѣчество передъ нашими глаза

ьетъ свои слезы, льетъ свою кровь, мучится, споритъ, становится ъ той и съ другой стороны, думаетъ примирить, думаетъ побѣ-ить—не можетъ и вмѣсто того, чтобы наслаждаться жизнью, скло-ияетъ усталую голову подъ то или другое ярмо предразсудковъ. Но то же ставитъ, кто поддерживаетъ это ярмо? Его никто не ставитъ, никто не поддерживаетъ. Заблужденія развиваются сами собой: въ сновѣ ихъ лежитъ всегда что нибудь истинное, обросшее словами ошибочнаго пониманія, какая нибудь простая житейская правда— на мало-по-малу утрачивается, между прочимъ потому, что вы-ажена въ формѣ, несвойственной ей; а вѣками скопившаяся ложь, ідая отъ старости, опираясь на воспоминанія, переходитъ изъ рода ъ родъ. Баратынскій превосходно назвалъ предразсудокъ облом-омъ древней правды. Эти обломки составляютъ одно начало для ротиворѣчій, на другой сторонѣ—ихъ отрицаніе, протестъ разума. бломки эти поддерживаются привычкой, лѣнью, робостью и на-онецъ младенчествомъ мысли, неумѣющей быть послѣдовательною уже развращенной принятіемъ въ себя разныхъ понятій безъ ірня, безъ оправданія, разсказанныхъ добрыми людьми и приня-ыхъ на честное слово, а иногда и просто такъ. Это совершенно ютивно духу критическаго мышленія, но оно очень легко: вмѣ-о труда и пота—органъ слуха, вмѣсто логической наготы—гото-е богатство, вмѣсто нравственной отвѣтственности передъ самимъ бой—младенческая зависимость отъ внѣшняго суда. Еще двѣсти тъ тому назадъ Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ лобно не хвалить, не порицать, а разбирать, какъ математическую ачу, т. е. стараться понять,—этого никакъ не растолкуешь. Мы ивемъ не понимая, стараясь лишь приладить кое-какъ свои стра-и, инстинкты къ оффиціальной морали, чтобы не прослыть за ступника или негодяя. Но что это за вещь такъ называемая фиціальная мораль?

Прислушиваясь къ различнымъ сужденіямъ, дивишься, какъ жетъ умъ дойти до того, чтобы въ одно и то же время совмѣ-ить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Катона Сенеки, романтически восторженныя выходки среднихъ вѣковъ, ютверженныя нравоученія благочестивыхъ отшельниковъ сте-и пустынь и своекорыстныя правила политической экономіи. юбразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ—именно мер-ую мораль, мораль, существующую только на словахъ, а въ са-

момъ дѣлѣ недостойную управлять поступками: современная м раль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это — милк обманъ, нравственная благопристойность, одежда—не болѣе. У ка даго человѣка за этой оффиціальной моралью есть свой припрята ный esprit de conduite; оффиціально онъ будетъ плакать о том что бѣдный бѣденъ, оффиціально онъ благороднымъ львомъ вст пится за честь женщины; privatim — онъ беретъ страшные пр центы, privatim онъ считаетъ себя вправѣ обезчестить женщин если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное дво душіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое боль плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ оскорбительное слово др гому въ глаза и почти всегда очернитъ его за глаза; въ Пари меньше сутенеровъ, нежели мушаровъ, потому что на первое р месло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего ро отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ отвращеніемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лга Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивос лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это конеч много способствуетъ растлѣнію, нравственному безсилію, въ ко ромъ родятся и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ чаду и туманѣ п ходящія по землѣ. Между тѣмъ и это лганье сдѣлалось совершен естественнымъ, даже моральнымъ; мы узнаемъ человѣка бла воспитаннаго—потому, что никогда не добьешься отъ него, что онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

Возьмите мелочи жизни, самое обыденное, скромное существ ваніе. Здѣсь особенно много непониманія, особенно рѣзко отсутст жизни. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подума о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно х почутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ и крестахъ, объ абсол номъ, объ варіаціонномъ исчисленіи, о томъ, когда ледъ пойдетъ Невѣ; но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйств ныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слуга и пр. — объ этихъ вещахъ ни за что на свѣтѣ не заставить по мать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для т играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ собою, чтобы не дать развиться угрызеніямъ совѣсти. Очень вѣ ятно, что человѣкъ, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, не

ить разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора ли бы имъ йти на свѣтъ? Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что е боится свѣта; да и въ сущности это все равно, прячь не прячь— се обличится; съ каждымъ днемъ тайнъ меньше... Изрѣдка какое ибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, угнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ близко, заставитъ ъ задуматься, и потомъ все, какъ стоячая вода, опять покры ется плѣсенью. Къ тому же, чтобы преступленіе обратило на ебя вниманіе, надобно, чтобы оно было чудовищно, громко, скан льно, залито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на фран цскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, обы посмотрѣть, какъ цари, герои или по крайней мѣрѣ полко одцы и наперсники ихъ проливаютъ кровь, а не для того, чтобы идѣть мѣщански проливаемыя слезы. Людямъ необходимы декора ія, обстановка, надпись; мѣщанинъ въ дворянствѣ очень удивился, ишавши, что онъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой—мы хохочемъ надъ имъ, а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ 80-ти, е зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ ка ой § кодекса—и мы не плачемъ надъ ними.

«Бѣдная, жалкая жизнь!—восклицаетъ Герценъ, котораго посто нно тѣснили воспоминанія о Перми, Вяткѣ и другихъ стоячихъ одахъ:—не могу съ нею свыкнуться... Пусть человѣкъ, гордый сво ъ достоинствомъ, пріѣдетъ въ Малиновъ посмотрѣть на тамошнее бщество, и смирится. Больные въ домѣ умалишенныхъ менѣе без ысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся къ однимъ ризракамъ, по горло въ грязи, забывшая всякое достоинство, вся ую доблесть. Тѣсныя, узкія понятія, грубыя, животныя желанія. ласно и смѣшно! Въ природѣ есть какая-то сардоническая логика, которой она безжалостно развиваетъ нелѣпости чрезвычайно по ѣдовательно. И именно въ этихъ-то развитіяхъ тѣсно спаянъ, къ въ шекспировскихъ драмахъ, глубоко-трагическій элементъ съ орительно-смѣшнымъ. И жаль ихъ отъ души, и не удержишься ъ смѣха! Бѣдные люди! Они подъ тяжелымъ фатумомъ; виноваты они, что съ молокомъ всосали въ себя понятія нечеловѣческія, о воспитаніемъ они исказили всѣ порывы, заглушили всѣ высшія требности? Такъ же невиноваты, какъ альбиносы, которые вды ютъ въ себя сѣверный болотный воздухъ, лишающій ихъ силъ и ражающій ихъ организмъ.»

Въ этомъ стоячемъ болотѣ, на этой почвѣ загнаннаго, запу инаго разума разыгрываются порою страшныя невидимыя драмы. ной изъ нихъ Герценъ посвятилъ свой романъ «Кто виноватъ?».

Здѣсь онъ выводитъ на сцену людей честныхъ, хорошихъ, и манныхъ; всѣ они любятъ другъ друга, всѣ они самымъ искре нимъ образомъ желаютъ осчастливить одинъ другого. А между тѣ въ концѣ концовъ они дѣлаютъ другъ друга несчастными, гибну Ихъ жизнь, ихъ любовь, какъ камень, брошенный въ стоячую во быстро пошли ко дну, чуть чуть разогнавъ плѣсень въ мѣстѣ и денія, но прошла минута, и плѣсень сдвинулась, и снова мерт молчаніе, мертвая тишина.

Пошлая мораль не затруднится найти причину гибели. О скажетъ, что влюбленные погибли оттого, что отдались своей ст сти, забыли законъ и долгъ, не подавили своихъ чувствъ. Буду забыты борьба, муки, вынесенныя ими, и торжествующая оф ціальная добродѣтель еще разъ въ великолѣпныхъ напыщенны словахъ заявитъ о своемъ превосходствѣ и скажетъ: горе вамъ, подчиняющимся мнѣ...

Вину, разумѣется, надо искать не въ личностяхъ, а въ проти рѣчіяхъ жизни, любви и брака, страсти и филистерства.

Общество и семья, по мнѣнію Герцена, это—тезъ и антитезъ, си находящіяся еще въ настоящее время въ постоянной упорной борь и только при ихъ соединеніи возможно счастье человѣка. Не отв нуться отъ влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуа ности и всего частнаго, не предать семейство всеобщему, но р крыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждат страданіями и наслажденіями современности, работать столько для рода, сколько для себя, словомъ—развить эгоистическое сер во «всескорбящее», обобщить его разумомъ и въ свою очередь о вить имъ разумъ. Фанатизма общественности—этой сухой и нег бокой доктрины—въ Герценѣ не было. Онъ признавалъ за кажд право жить для себя и какъ онъ хочетъ, но онъ понималъ въ то время, что эгоистическая жизнь, ограниченная слишкомъ узк предѣлами, виситъна волоскѣ. Ее надо расширить и обогатить, чт бури обстоятельствъ не были безусловно гибельны для нея. Ч вѣкъ безъ сердца — какая-то безстрастная машина мышленія, имѣющая ни семьи, ни друга, ни родства; сердце составляетъ красную и неотъемлемую основу духовнаго развитія, изъ него бѣгаетъ по жиламъ струя огня всесогрѣвающаго и живительн имъ «живое сотрясается въ наслажденіи, ради себя». Подним въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преображае

ерая свою дикую судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; в мѣрѣ расширенія интересовъ уменьшается сосредоточенность коло своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Хотя бы Бельтовъ, герой романа, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей имѣлъ симпатію къ современности, — симпатію настоящую, органическую, остался ли бы онъ сидѣть сложа руки, истощая ть безъ исключенія силы души на противодѣйствіе несчастной любви? Можетъ быть, эта любовь и посѣтила бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ собой, потому что онъ былъ бы сильнѣе ея по стороной бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, жизнь героевъ романа была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула.

«Кто виноватъ?» — иллюстрація нравственной философіи Герцена: такъ у гегеліанца, она построена на развитіи и примиреніи противорѣчій. Мы знаемъ главнѣйшія изъ этихъ послѣднихъ: разумъ и предразсудки, личное чувство и общепринятыя формы общественной морали, семья и общество. Въ этихъ противорѣчіяхъ проходитъ частная безсмысленная человѣческая жизнь. И какъ изъ нихъ выпутаться, какъ и чѣмъ примирить ихъ? Держаться средины, не пристая ни къ одному берегу? Къ сожалѣнію, это невозможно. Разумъ и предразсудки — огонь и вода, что нибудь да должно побѣдить, а другое погибнуть. Личное чувство, разъ оно не ужилось съ общепринятыми формами морали, должно или запрятаться глубоко въ сердце, или гордо провозгласить свою независимость, не смотря на что. Примиримо лишь третье противорѣчіе — семьи и общества, путемъ гармоническаго сліянія того и другого начала.

Дуализмъ жизни, т. е. ея противорѣчія, ведетъ или къ гибели сильной личности, какъ Бельтова, какъ четы Круциферскихъ, или к особенно отвратительному пороку — лицемѣрію, или наконецъ к безнадежной мысли о томъ, что все равно ничего не подѣлаешь; и жить какъ нибудь, не переставая иронически улыбаться при видѣ человѣческой глупости вплоть до могилы, такой же холодной и ненужной, какой была сама жизнь. Чтобы воспрянуть духомъ, чтобы высвободиться изъ-подъ ярма, нужны особыя, недюжинныя лица. Люди напр. чуть не съ троянской войны толкуютъ о нравственной независимости, о стремленіи къ ней, объ ея достоинствахъ и прелестяхъ, между тѣмъ на дѣлѣ оказываются не-

сравненно болѣе привязанными къ авторитетамъ, нежели къ нр
ственной свободѣ.

Но Герценъ не пессимистъ. Онъ знаетъ силу суевѣрія, предр
судка, умственной косности, но знаетъ, что, какъ ни тяжело по
женіе, какъ ни велика борьба,—выходъ и спасеніе есть. Это—к
тическая мысль и наука, проведенная въ жизнь и построивша
по своему идеалу. Ложь человѣческаго существованія, ея неп
миренныя противорѣчія ведутъ къ враждѣ, къ гибели, мучен
честву; наука, какъ истина,—къ любви.

Но наука, мысль, вѣдѣніе существуютъ уже давно; что же т
мозитъ ихъ доброе вліяніе на жизнь? Отвѣту на этотъ вопросъ Г
ценъ посвятилъ свои статьи о диллетантизмѣ въ наукѣ. Ока
вается, что виновата не она сама, виновато отношеніе къ ней.

Въ самомъ началѣ своихъ статей Герценъ дѣлаетъ характер
стику своей эпохи. Онъ считаетъ ее рубежомъ двухъ міровъ, с
раго—схоластическаго и новаго—положительнаго. Но новый м
только выступаетъ на сцену, онъ еще въ пеленкахъ и его лепе
заглушенъ грознымъ ворчаніемъ стараго. Отсюда новая тягость,
труднительность жизни для мыслящихъ людей. Прежнія убѣжде
все прошедшее міросозерцаніе потрясены, но они дороги серд
Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще п
нести плодъ; первые листы и почки пророчатъ могучіе цвѣты,
этихъ цвѣтовъ нѣтъ и они чужды сердцу. Множество людей, ка
бы претерпѣвъ кораблекрушеніе, остались безъ всего, безъ всяк
нравственнаго содержанія, выброшенные на берегъ безлюднаго
мнѣнія. Ихъ старый корабль разбитъ. Построить новый они не
состояніи. Другіе механически связали старое и новое и бродятъ
печальныхъ сумеркахъ. Люди «внѣшніе» предаются ежедневн
суетѣ, и въ ней находятъ если не счастье, то забвеніе; люди соз
цательные страдаютъ и во что бы то ни стало ищутъ примирен
потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго ка
нравственному бытію, человѣкъ жить не можетъ. Тяжелое поло
ніе ухудшается еще тѣмъ, что люди не умѣютъ относиться къ нау
какъ слѣдуетъ, и не знаютъ, чего искать въ ней. Съ одной сторо
мы видимъ массу диллетантовъ и романтиковъ, съ другой—ц
записныхъ спеціалистовъ и буддистовъ науки. Диллетанты и ром
тики не находятъ примиренія въ наукѣ, и потому проклинаютъ
спеціалисты и буддисты напротивъ того находятъ ложное прими

ніе въ ея буквѣ, но не проникаютъ въ ея сущность, не вносятъ ея въ жизнь. Первые близки къ Фаусту, вторые—къ Вагнеру.

«Диллетанты смотрятъ въ телескопъ: оттого видятъ только тѣ предметы, которые по меньшей мѣрѣ далеки какъ луна отъ земли, а земного и близкаго не видятъ ничего. Ученые смотрятъ въ микроскопъ, и потому не могутъ видѣть ничего большого; для того, чтобы быть замѣченнымъ ими, надобно быть незамѣтнымъ человѣческому глазу; для нихъ жизнь—не ручей, не рѣка, не моря, а капля, наполненная микроорганизмами. Диллетантъ занимается всѣмъ «познаваемымъ», да еще сверхъ того тѣмъ, чѣмъ нельзя заниматься, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, физіогномикой, гомеопатіей и т. д. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя отдѣльной вѣтви какой нибудь спеціальной науки, и кромѣ ея ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Расплываясь въ морѣ частностей и детальныхъ крупицъ знанія, цеховые ученые въ то же время валомъ отдѣлены отъ жизни. Между тѣмъ какъ массы дѣйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ,—ученые являются послѣ разсуждать о происшествіи.»

Изливши цѣлый потокъ иронія на диллетантовъ и цеховыхъ спеціалистовъ, Герценъ, вѣрный гегелевской методѣ, въ заключеніи приступаетъ къ вопросу о томъ, когда же будетъ конецъ этому раздвоенію и въ чемъ онъ будетъ заключаться. Главное, что дѣлаетъ науку ученыхъ трудною и запутанною, это метафизическія бредни и тьма-тьмущая спеціальностей, на изученіе которыхъ посвящается цѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукѣ необходимо улетучивается то и другое, и остается стройный организмъ, разумный и оттого просто понятный. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдѣльныхъ отраслей науки, которая очень справедливо останется въ рукахъ спеціалистовъ, но не въ ней дѣло. Наука въ высшемъ смыслѣ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Нѣтъ мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи.

Въ статьѣ «Буддизмъ въ наукѣ» Герценъ изливаетъ свою иронію на ученыхъ формалистовъ, вродѣ того доктора, вмѣстѣ съ которымъ онъ велъ философскія пренія въ Новгородѣ съ мистическою генеральшею, съ другой стороны—на отвлеченныхъ философовъ-примирителей, вродѣ московскаго кружка Бѣлинскаго. Буддисты науки, по мнѣнію Герцена,—это люди, которые, такъ или сякъ поднявшись въ сферу всеобщаго, изъ нея не выходятъ. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обширную храмину, въ которой дѣлать

а почетно, на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдѣ надоб
работать, а иногда погибнуть. Вина буддистовъ состоитъ въ том
что они не чувствуютъ потребности этого выхода въ жизнь—дѣ
ствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки прин
маютъ за *всяческое* примиреніе; не за поводъ къ дѣйствованію,
за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава
рости за переплетомъ книги. Они все снесутъ за пустоту всеобщ
ности... Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объя
нено, сознано и человѣчество достигло абсолютной формы быт
что доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолю
ная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ,
какъ ея результатъ, то-есть по совершеніи бытія. Для нихъ так
доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутишь, они пре
небрегаютъ ими. Спросите ихъ, отчего при этой абсолютной форм
бытія въ Манчестерѣ и Бирмингамѣ работники мрутъ съ голоду
прокармливаются настолько, насколько нужно, чтобы они не поте
ряли силъ? Они скажутъ: «это случайность».

Такимъ образомъ, по мнѣнію Герцена, односторонность будди
стовъ науки заключается въ томъ, что они ограничиваются прими
реніемъ въ отвлеченной сферѣ мышленія, не видя его въ жизни
тогда какъ истинный процессъ идеи есть въ то же время процесс
жизни, а не одной мысли.

Словомъ, наука, прежде чѣмъ оплодотворить жизнь, должна быт
сама оплодотворена жизнью, и наоборотъ. Получается повидимом
заколдованный кругъ, но это только повидимому. Оба процесса в
сущности нераздѣльны и совершались всегда, но лишь въ слабой
ничтожной степени. Оттого-то вліяніе ихъ совсѣмъ не замѣтно.

Буддистъ долженъ найти себѣ выходъ въ жизни, въ дѣятель
ности; диллетантъ—тамъ же, ибо жизнь, дѣятельность—корень
источникъ всего.

Вопросы, поднятые Герценомъ, слишкомъ сложны, чтобы м
могли высказаться по ихъ поводу. Они далеко не разрѣшены ещ
и въ настоящее время. Диллетантизмъ и буддизмъ процвѣтаютъ,
больше того, считаютъ свое право на существованіе внѣ всякаг
сомнѣнія. Буддизмъ гнѣздится въ академіяхъ и университетахъ
диллетантизмъ разсыпался по лицу родной земли и пользуетс
пріютомъ въ многочисленныхъ журналахъ. То и дѣло переходит
онъ въ общеизвѣстную форму верхоглядства... Но, не разрѣшив

безусловно поставленной задачи, Герценъ тѣмъ не менѣе сдѣлалъ очень многое: роль его статей и статей Бѣлинскаго въ области публицистическаго мышленія такая же, какъ Пушкина въ области художественнаго творчества. Пушкинъ былъ первымъ реалистомъ, первымъ, который умѣлъ вдохновляться дѣйствительностью. Герценъ и Бѣлинскій были первыми истинными реалистами, первыми, которые признали практическую дѣйствительную жизнь за необходимый элементъ мышленія. Шестидесятые годы духовно порождены ими.

Повторяю, взглядъ Герцена — это взглядъ трезваго реалиста, каким онъ по самому темпераменту своему былъ чуть не съ пеленокъ и какимъ онъ остался вплоть до гробовой доски. Посмотрите съ этой точки зрѣнія на его философскую теорію. Мы знаемъ, что она образовалась подъ вліяніемъ гегелевской діалектики, но какая громадная разница между Герценомъ и правовѣрными гегеліанцами. Слѣдуя Фейербаху, онъ рѣшительно отвергаетъ возможность существованія «идеи», «сущности» внѣ ея проявленія.

«Такое раздѣленіе,—говоритъ онъ,—невозможное въ дѣйствительности, имѣетъ мѣсто только въ человѣческомъ мышленіи. Дилетанты часто предлагаютъ въ различныхъ видахъ вопросъ: «какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое внѣшнее, и что оно было прежде существованія внѣшняго?». Но, по мнѣнію Герцена, наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе какъ внутреннее и внѣшнее, можно разъять такъ, чтобы одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другого. Въ абстракціи, разумѣется, мы можемъ отдѣлить причину отъ дѣйствія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но дилетантамъ не того хочется: имъ хочется освободить сущность, внутреннее такъ, чтобы можно было посмотрѣть на него; они хотятъ какого то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внѣшнее; внутреннее, не имѣющее внѣшняго, просто — безразличное ничто. Жизнь жива, какъ все органическое живое, только какъ цѣлостность. При разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвыя абстракціи съ запахомъ трупа. Важна, разумѣется, не та отвлеченная форма, въ которую выразилась мысль Герцена, важны ея практическіе выводы. Проявленія жизни—самая жизнь, видимая и ощущаемая нами дѣйствительность—сама сущность жизни. Насколько

же послѣ этого полезно ея буддійское созерцаніе? и что на самом дѣлѣ созерцается? Сущность? Абстракція? Но вѣдь это слова, э понятія нашего мозга и только. Созерцается «ничто», а въ это врем жизнь уходитъ изъ-подъ ногъ съ быстротой ужасающей и пораз тельной. Итакъ, работать, работать!...

* *
*

Быть можетъ изложенныя выше идеи Герцена покажутся чита телю неновыми и неоригинальными. *Теперь* онѣ на самомъ дѣл не новы и не оригинальны. Но пусть припомнитъ всякій, какі душевныя муки испыталъ Грановскій, приступая къ изученіі исторіи и не зная, по какому пути ему идти: сдѣлаться ли цехо вымъ спеціалистомъ, потонуть въ морѣ мелочныхъ фактовъ пр страшномъ обиліи матеріаловъ, разработанныхъ нѣмецкою наукою или же, напротивъ, стать диллетантомъ. Вспомните затѣмъ, в какомъ туманѣ и какомъ буддизмѣ пребывалъ Бѣлинскій долгі годы вплоть до самаго переѣзда въ Петербургъ, и вы поймете, как нуженъ былъ Герценъ и его огромный литературный талантъ. Мы сейчасъ увидимъ, какъ оцѣнила его молодежь, пока же нѣсколь словъ о «Запискахъ доктора Крупова» — быть можетъ лучшем произведеніи, вышедшемъ изъ-подъ пера Герцена. Оно переноситъ насъ въ особую сферу его мысли, въ особое настроеніе его духа Вѣдь онъ, какъ и Лермонтовъ,—тоже герой безвременья. Его дѣя тельная мысль часто приходила въ утомленіе отъ собственной ра боты, нужно было оживить свои нервы, а вокругъ было стояче болото — страшное, засасывающее, безмолвное. Не тосковалъ Герценъ, окруженный своими друзьями, слушая ихъ шумныя рѣчи не тосковалъ онъ въ 48-мъ году, не тосковалъ и въ 61-омъ, когда началось возрожденіе Россіи, но жизнь его сложилась такъ, что большую часть ея онъ провелъ за оградой. Въ этомъ ея трагизмъ Ссылка долго держала его вдали отъ умственнаго движенія, эмиграція отдѣлила его отъ Россіи, защита польскаго возстанія сдѣлал непопулярнымъ самое имя на родинѣ. Дѣятельный пропагатор идей, онъ однако вынужденъ былъ проповѣдывать чужимъ, невнимательнымъ слушателямъ; умственный аристократъ, онъ провелъ долгіе годы въ стоячихъ водахъ Вятки, Перми и пр.,—поневолѣ возмущалась его гордость, поневолѣ обида заполоняла сердце

превращаясь въ тоску. Тогда онъ проклиналъ или смѣялся смѣхомъ Мефистофеля, билъ своихъ враговъ съ безпощадной ироніей, но грустная человѣческая нота неудавшейся жизни никогда не переставала звучать ни въ его смѣхѣ, ни въ его ироніи.

Кто помнитъ доктора Крупова, тотъ помнитъ конечно и его теорію. Она состоитъ въ томъ, что люди, вообще говоря, повреждены въ умѣ, что человѣчество поражено повальнымъ сумасшествіемъ. Нелѣпыя заблужденія людей, ихъ слѣпое подчиненіе страстямъ, ихъ дѣйствія, явно противорѣчащія ихъ собственной пользѣ,—все это докторъ Круповъ считалъ слѣдствіемъ давнишняго эпидемическаго помѣшательства. Для того, чтобы подобная шутка была остра и занимательна, нужно было одно условіе—нужно было, чтобы она какъ можно ближе походила на правду. Истинно остроуменъ можетъ быть только тотъ, кто истинно глубокомысленъ. Шутка у Герцена вышла странная: изъ простой насмѣшки надъ людскими слабостями и предразсудками она переходитъ въ скорбную, въ отчаянную думу о бѣдствіяхъ и страданіяхъ людей и подъ конецъ кажется, что мысль о хроническомъ и повальномъ умопомѣшательствѣ гораздо легче и отраднѣе, чѣмъ представленіе, что люди всѣ свои безумства и злодѣйства дѣлаютъ въ полномъ разумѣ и съ неповрежденнымъ сердцемъ.

Фигура дурачка Левки — едва ли не лучшее лицо, созданное Герценомъ. Въ описаніи этого лица онъ наглядно и превосходно сопоставляетъ человѣка *дикаго* съ людьми грубыми; на сторонѣ грубыхъ людей оказывается больше непониманія, больше безчеловѣчія, чѣмъ у несчастнаго юродиваго. Тонко и ясно схвачены нѣжныя дѣтскія черты ума и сердца Левки; выпукло и рѣзко выставлена нелѣпая затвердѣлость понятій людей, считающихъ только себя разумными, только свою жизнь нормальною. «Я постоянно возвращался къ основной мысли,—говоритъ докторъ Круповъ,—что причина всѣхъ гоненій на Левку состоитъ въ томъ, что Левка глупъ на свой собственный салтыкъ, а другіе повально глупы; и такъ, какъ картежники не любятъ неиграющихъ и пьяницы непьяницъ, такъ и они ненавидятъ бѣднаго Левку».

Дальше Герценъ указываетъ на тотъ явный постоянный вредъ, который наносятъ люди себѣ самимъ въ силу своихъ предразсудковъ, на ихъ явное и постоянное стремленіе къ цѣлямъ несущественнымъ и упущеніе цѣлей дѣйствительныхъ. Это уже черта на-

стоящаго безумія, т. е. такого состоянія, въ которомъ дѣйствите ность не имѣетъ силы надъ человѣкомъ. Если человѣкъ подв гается бѣдамъ и мученіямъ, дѣйствуя по извѣстнымъ понятіямъ однакоже не можетъ образумиться и продолжаетъ прежній обр дѣйствій, то онъ всего ближе къ безумству.

«Успокоившись насчетъ жителей нашего города, — заключа докторъ Круповъ,—я пошелъ далѣе. Выписавъ себѣ знаменитѣй путешествія древнія и новыя, историческія творенія, я подписа на «Аугсбургскую Всеобщую Газету». Отовсюду текли доказате ства очевидныя, неподлежащія сомнѣнію, моей основной мыс слезы умиленія не разъ наполняли мои глаза при чтеніи. Я не ворю уже о «Аугсбургской газетѣ»; на нее я съ самаго начала с трѣлъ не какъ на суетный дневникъ всякой всячины, а какъ всеобщій бюллетень богоугодныхъ заведеній для несчастныхъ, ст дающихъ душевными болѣзнями. Все равно, что бы историческое ни начиналъ читать, вездѣ во всѣ времена открывалъ я разныя б умія, которыя соединялись въ одно всемірное хроническое сумас ствіе. Тита Ливія я бралъ или Муратори, Тацита или Гиббона никакой разницы: всѣ они, равно какъ и нашъ отечественный ис рикъ Карамзинъ, доказываютъ одно, что исторія не что иное, ка связный разсказъ родового, хроническаго безумія и его медленна излѣченія. Истинно не считаю нужнымъ приводить примѣры: и милліоны. Разверните какую хотите исторію; вездѣ васъ поразит что вмѣсто дѣйствительныхъ интересовъ всѣмъ заправляютъ мним фантастическіе интересы; вглядитесь изъ-за чего льется кровь, из за чего несутъ крайность, что восхваляютъ, что порицаютъ — и ясно убѣдитесь въ печальной на первый взглядъ истинѣ, и истин полной утѣшенія на второй взглядъ, что все это—слѣдствіе разстро ства умственныхъ способностей...»

Замѣчательно при этомъ то, что при всей кажущейся безотра ности подобной ироніи въ ней вы вовсе не слышите того мрачнаг потерявшаго всякую надежду отчаянія, которое вы видите, напр мѣръ, въ сатирѣ Ювенала; напротивъ того, отъ нея отзывает чѣмъ-то свѣжимъ, полнымъ силъ и жизни, вызывающимъ и во буждающимъ. Это не стоны разочарованной старости, но все я далѣе этого въ рефлексіи пойти трудно, хотя впрочемъ впослѣ ствіи Герценъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ. Въ «Запискахъ доктора Крупова» проведена та мысль, что исторія есть процесс выздоровленія человѣчества отъ его болѣзни; такимъ образом вамъ остается надежда, что когда нибудь человѣчество выйдет изъ своего сумасшествія.

* * *

Весь курсъ 1845 г. Герценъ ходилъ на лекціи въ университетъ и слушалъ сравнительную анатомію. Въ аудиторіи и въ анатомическомъ театрѣ онъ познакомился съ новымъ поколѣніемъ юношей. Направленіе занимавшихся въ то время было совершенно реалистическое, т. е. положительно-научное. Замѣчательно, что таково же было направленіе почти всѣхъ царскосельскихъ лицеистовъ. Лицей въ то время оставался еще разсадникомъ талантовъ; завѣщаніе Пушкина, благословеніе поэта пережило всѣ тяжелыя испытанія времени. Съ радостью привѣтствовалъ Герценъ въ лицеистахъ, бывшихъ въ Московскомъ университетѣ, новое, сильное поколѣніе, а они, въ свою очередь, въ немъ и Бѣлинскомъ видѣли выразителя живыхъ задушевныхъ своихъ мыслей и у него искали рѣшенія мучившихъ ихъ вопросовъ.

Трогательный въ этомъ отношеніи разсказъ находимъ мы въ «Быломъ и Думахъ».

«Сынъ одного знакомаго подмосковнаго священника, молодой человѣкъ лѣтъ 17-ти, приходилъ нѣсколько разъ ко мнѣ за «Отечественными Записками». Застѣнчивый, онъ почти ничего не говорилъ, краснѣлъ, мѣшался и торопился скорѣе уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило въ его пользу; я переломилъ, наконецъ, его отроческую неувѣренность въ себѣ и сталъ говорить съ нимъ объ «Отечественныхъ Запискахъ». Онъ очень внимательно и дѣльно читалъ въ нихъ именно философскія статьи. Онъ сообщилъ мнѣ, какъ недавно на высшемъ курсѣ семинаріи учащіеся читали мое историческое изложеніе системъ, и какъ оно ихъ удивило послѣ философіи по Бурмейстеру и Вольфу. Молодой человѣкъ сталъ иногда приходить ко мнѣ, я имѣлъ полное время убѣдиться въ силѣ его способностей и въ способности труда.

— Что вы намѣрены дѣлать послѣ курса?—спросилъ я его разъ.

— Постричься въ священники,—отвѣчалъ онъ, краснѣя.

— Думали ли вы объ участи, которая васъ ожидаетъ, если вы войдете въ духовное званіе?

— Мнѣ нѣтъ выбора, мой отецъ рѣшительно не хочетъ, чтобы я шелъ въ свѣтское званіе. Для занятій у меня досуга будетъ довольно.

— Вы не сердитесь на меня,—возразилъ я,—но мнѣ невозможно не сказать откровенно своего мнѣнія. Вашъ разговоръ, вашъ образъ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствіе, которое вы имѣете къ моимъ трудамъ,—все это и сверхъ того искреннее участіе въ вашей судьбѣ даютъ мнѣ вмѣстѣ съ моими лѣтами нѣкоторыя права. Подумайте сто разъ, прежде чѣмъ вы надѣнете рясу. Снять ее будетъ гораздо труднѣе, а можетъ быть вамъ въ ней тяжело будетъ дышать. Я вамъ сдѣлаю очень простой вопросъ: скажите, есть ли у васъ въ душѣ вѣра хоть въ одинъ догматъ богословія?

Молодой человѣкъ, потупя глаза и помолчавъ, сказалъ: «пере вами лгать не стану—нѣтъ».

— Я это зналъ; подумайте же теперь о вашей будущей судьб Вы должны будете во всю вашу жизнь всенародно, громко лгат измѣнять истинѣ; вѣдь это-то и есть грѣхъ противъ Св. Духа, грѣ сознательный, обдуманный. Станетъ ли васъ на то, чтобы слади съ такимъ раздвоеніемъ? Все ваше общественное положеніе буде неправдой. Какими глазами вы встрѣтите взглядъ усердно молящ гося, какъ будете утѣшать умирающаго раемъ и безсмертіемъ, ка отпускать грѣхи? А еще тутъ васъ заставятъ убѣждать раскольн ковъ, судить ихъ.

— Это ужасно, ужасно! — сказалъ молодой человѣкъ и уше взволнованный и разстроенный.

На другой день вечеромъ онъ возвратился.

— Я къ вамъ пришелъ за тѣмъ,—сказалъ онъ,—чтобы сказат что я очень много думалъ о вашихъ словахъ. Вы совершенно прав духовное званіе мнѣ невозможно, и будьте увѣрены, я скорѣе пой въ солдаты, чѣмъ позволю себя постричь въ священники.

Я горячо пожалъ ему руку и обѣщалъ съ своей стороны, ог время придетъ, уговорить, насколько могу, его отца.»

Мнѣ кажется, что въ этой маленькой сценѣ мы находимъ пр красную иллюстрацію всей проповѣди Герцена за первый, *русскі* періодъ его дѣятельности. Вѣдь истинная ея сущность можетъ бы цѣликомъ выражена въ немногихъ словахъ: «не лги и не подчи няйся лжи».

IX.

Заграницей.

Съ конца 1845 года силы Ивана Алексѣевича постоянно уменьшались, онъ явнымъ образомъ гаснулъ, особенно со смерти сенатора, къ которому былъ сильно привязанъ, разумѣется, по своему. Проболѣвъ нѣсколько мѣсяцевъ, старый скептикъ умеръ, и кончилась еще одна ненужная жизнь, Богъ вѣсть зачѣмъ и въ чемъ проведенная. Вѣдь бываютъ же такія обстоятельства, когда человѣкъ не живетъ по настоящему, а отбываетъ жизнь, ну, точно какую нибудь повинность. Мелочная скупость и ненужные крупные расходы, привязанности, затаенныя глубоко въ сердцѣ, и обидная холодная иронія на яву, громадный умъ, истраченный на то, чтобы насмѣяться надъ нѣсколькими дураками,—все это скрылось въ могилу вмѣстѣ съ Иваномъ Алексѣевичемъ.

Герценъ получилъ въ наслѣдство громадное состояніе въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей. Его неотразимо потянуло заграницу. Нѣсколько мѣсяцевъ непріятныхъ хлопотъ, непріятной возни изъ-за паспорта, и наконецъ, —

Ну, радуйтесь! Я отпущенъ!
Я отпущенъ въ страны чужія!
Да это полно ли, не сонъ?
Нѣтъ, завтра жъ кони почтовые,
И я скачу vom Ort zu Ort,
Отдавши деньги за паспортъ.
Поѣду... Что-то будетъ тамъ?
Не знаю! вѣрно, но темно
Грядущее передъ очами,
Богъ вѣсть, что мнѣ сулитъ оно!
Стою со страхомъ предъ дверями
Европы...

Едва ли въ эту минуту даже отдаленная мысль объ эмиграціи мелькала въ головѣ Герцена. Какъ умный человѣкъ, онъ не могъ

не понимать, что эмиграція — шагъ роковой, безповоротн
который ничего не сулитъ, кромѣ бѣдъ, разочарованій и даж
вполнѣ справедливыхъ мукъ совѣсти. Въ Европѣ дѣятелей всяк
рода вполнѣ достаточно; русскому человѣку довольно работы
себя дома: здѣсь нужна каждая крупица его силъ, каждый пор
его сердца. Эмиграція для богатаго человѣка слишкомъ прост
легка, слишкомъ аристократична, если можно такъ выразит
Герценъ не могъ не видѣть этого; однако «путешествіе на вод
игрою случайностей и событій превратилось въ эмиграцію...

Тогда, въ 1847 г., ѣздили на почтовыхъ. Дорожныя впечат
нія, особенно зимой, постоянное визированіе паспортовъ, ожида
на глухихъ станціяхъ — все это быстро утомляло и пріѣдало
Долго еще къ тому же Герценъ не могъ оторваться отъ стара
Позади оставалось слишкомъ много; что̀ было впереди — никто
зналъ. Знакомства мимоходомъ не завязывались, и первое, кото
завязалось, вышло какъ первый блинъ—комомъ. Герценъ отъ ску
разлиберальничался по поводу польскаго вопроса съ какимъ
господиномъ, обладавшимъ собственноручнымъ носомъ, и не мн
поздно узналъ, что это былъ полицейскій шпіонъ.

Слишкомъ мѣсяцъ тянулась дорога, станціи смѣнялись ст
ціями, Берлинъ, Кельнъ, Бельгія быстро промелькнули пер
глазами. Герценъ смотрѣлъ на все полуразсѣянно, мимоходо
онъ торопился доѣхать и доѣхалъ наконецъ: красиво и велич
разстилался передъ нимъ на монмартрскихъ холмахъ міровой горо

«Я отворилъ старинное, тяжелое окно,—пишетъ онъ,—въ Hô
du Rhin, передо мной стояла колонна

съ куклою чугунной
Подъ шляпой, съ мраморнымъ челомъ,
Съ руками, сжатыми крестомъ.

Итакъ, я, дѣйствительно, въ Парижѣ, не во снѣ, а на яву: вѣ
это Вандомская колонна и rue de la Paix... «*Въ Парижѣ*»—едва
въ этомъ словѣ звучало для меня меньше, чѣмъ въ словѣ «М
сква». Объ этой минутѣ я мечталъ съ дѣтства. «Дайте же взгляну
на Hôtel de Ville, на café Foy въ Пале-Роялѣ, гдѣ Камиллъ Дем
ленъ сорвалъ зеленый листъ и прикрѣпилъ его къ шляпѣ, вмѣс
кокарды, съ крикомъ: «à la Bastille!»... Дома я не могъ остаться;
одѣлся и пошелъ бродить зря... искать Бакунина, Сазонова. Во
rue St. Honoré, Елисейскія поля — всѣ эти имена, сроднившіяся
давнихъ лѣтъ... да вотъ и самъ Бакунинъ... Я былъ внѣ себя о
радости...»

Увы, однако, какъ мимолетна была эта радость; она только мелькнула Герцена, только блеснула передъ его глазами, какъ падающая звѣзда въ темнотѣ ночи, и исчезла тамъ же, гдѣ исчезаютъ всѣ наши горести... Прежде всего пришлось значительно разочаровываться въ Парижѣ и французахъ, если не во всѣхъ, то по крайней мѣрѣ въ половинѣ изъ нихъ, и притомъ той половинѣ, которая правила страной, была прилично одѣта, говорила рѣчи и писала въ газетахъ. Слѣды этого разочарованія мы находимъ въ письмахъ Герцена того времени, часть которыхъ появилась въ «Современникѣ» за 1847 г. Какъ Гейне и Берне, какъ впослѣдствіи нашъ Достоевскій («Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ»),—Герценъ изъ близкаго знакомства со столичной буржуазіей вынесъ впечатлѣніе самое отвратительное и удушливое. Онъ пораженъ ея развратомъ, ея мелочностью.

«Развратъ,—пишетъ онъ,—проникъ всюду — въ семью, въ законодательный корпусъ, въ литературу, прессу. Онъ настолько обыкновенъ, что его никто не замѣчаетъ, да и замѣчать не хочетъ. И это развратъ не широкій, не рыцарскій, а мелкій, бездушный, скаредный. Это развратъ торгаша...»

Другого въ этомъ слоѣ общества Герценъ, разумѣется, и не могъ ничего увидѣть. Та торгово-промышленная компанія, въ которую обратилась при Людовикѣ-Филиппѣ Франція, была проникнута невыразимой пошлостью, и чтобы облегчить свою душу, Герцену пришлось спуститься ниже, къ трудящемуся люду, и присмотрѣться къ *его* жизни. Различіе въ нравахъ поражаетъ его: онъ удивляется полному отсутствію канкана, уваженію къ женщинѣ, внимательному вниманію къ дѣтямъ въ низшихъ классахъ населенія. «Въ лачугахъ и мансардахъ, — пишетъ онъ, — меня всегда трогало добродушіе». Но низшіе классы населенія не давали тона жизни. Приходилось дышать воздухомъ, пропитаннымъ мѣщанствомъ, а это было такъ тяжело, что черезъ немного мѣсяцевъ, къ зимѣ, Герцену стало невыносимо не по себѣ въ Парижѣ. Онъ не могъ примириться съ безобразнымъ нравственнымъ паденіемъ, которое его окружало, и чувствовалъ, что въ душу его быстро забираются холодъ, недовѣріе и «все равно» полной безнадежности. Встряхнется ли Франція?—спросилъ онъ себя, и съ этимъ вопросомъ, на который пока не было отвѣта, уѣхалъ въ Италію.

«Испуганный Парижемъ 1847 г.,—пишетъ онъ,—я было раньше закрылъ глаза, но снова увлекся событіями, кипѣвшими возлѣ

меня. Вся Италія просыпалась на моихъ глазахъ! Я видѣлъ н
литанскаго короля, сдѣланнаго ручнымъ, и папу, смиренно п
щаго милостыню народной любви. Вихрь, поднявшій все, уне
меня; вся Европа взяла одръ свой и пошла въ припадкѣ лунат
принятаго нами за пробужденіе.»

Но все же было нѣсколько мѣсяцевъ, дней, когда дыша
хорошо и привольно,—эти мѣсяцы, эти дни Герценъ назвалъ сн

«О, Римъ! какъ я люблю возвращаться къ твоимъ обма
какъ охотно перебираю я день за днемъ время, въ которое я
пьянъ тобой...»

И было съ чего. Прочтите хотя бы вотъ этотъ маленькій о
вокъ изъ воспоминаній:

«Темная ночь. Корсо покрыто народомъ, кое-гдѣ факелы
Парижѣ уже съ мѣсяцъ провозглашена республика. Новости
шли изъ Милана — тамъ дерутся, народъ требуетъ войны; нос
слухъ, что Карлъ-Альбертъ идетъ съ войскомъ. Говоръ недовол
толпы похожъ на перемежающійся ревъ волны, которая то пр
ваетъ съ шумомъ, то тихо переводитъ духъ. Толпы строятся,
идутъ къ пьемонтскому послу узнать, объявлена ли война.

— Въ ряды, въ ряды съ нами!—кричатъ намъ десятки голос

— Мы иностранцы.

— Тѣмъ лучше, Santo Dio, вы наши гости.

Пошли и мы. И толпа съ страстнымъ крикомъ одобренія
ступилась, Чичероваккіо и съ нами молодой римлянинъ, поэтъ на
ныхъ пѣсенъ, продираются съ знаменемъ, трибунъ жметъ руки
мамъ и становится съ нами во главѣ 10—12 тысячъ человѣк
все двинулось въ томъ величавомъ и стройномъ порядкѣ, кото
свойственень только одному римскому народу.»

Прямое участіе Герцена въ итальянскихъ событіяхъ 184
только этимъ и ограничилось. Втеченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ онъ
блюдалъ нервную дрожь, овладѣвшую цѣлымъ народомъ, и чувс
валъ, какъ эта дрожь передается и ему. Свобода Италіи, сво
цѣлой страны, которую такъ долго и такъ безжалостно топт
большіе и маленькіе Меттернихи, сіяла въ будущемъ, какъ зв
передъ волхвами, и манила и звала къ себѣ, за собой. Нервы
пряглись, всѣ приподняли голову, глаза у всѣхъ заблестѣли т
особеннымъ блескомъ вдохновенія, который говоритъ, что д
полна, что лишь торжественный гимнъ свободы можетъ удовле
рить ее въ одну минуту... Этихъ минутъ забыть нельзя.

Между тѣмъ событія разыгрывались со страшной быстро
Вѣсти одна другой поразительнѣе долетали изъ Франціи: ко

Луи-Филиппъ бѣжалъ, провозглашена республика, опять, какъ прежде, единая, нераздѣльная и даже perpetuelle—вѣчная.

«Завтра—писалъ въ апрѣлѣ 48 г. Герценъ—мы ѣдемъ въ Парижъ. Я оставляю Римъ оживленнымъ, взволнованнымъ. Что то будетъ изъ всего этого? Прочно ли все это? Небо не безъ тучъ, временами вѣетъ холодный вѣтеръ изъ могильныхъ склеповъ, нанося запахъ трупа, запахъ прошедшаго; историческая трамонтана *) сильна, но что бы ни было—благодарность Риму за пять мѣсяцевъ, которые я въ немъ провелъ. Что прочувствовано — то останется въ душѣ, и не сдуетъ же всего реакція.»

Герценъ ѣхалъ изъ Италіи влюбленный въ нее, ему жаль было разставаться съ нею—тамъ встрѣтилъ онъ не только великія событія, но и первыхъ симпатичныхъ ему людей—но все же онъ ѣхалъ.

«Мнѣ,—говоритъ онъ,—казалось измѣной всѣмъ моимъ убѣжденіямъ не быть въ Парижѣ, когда въ немъ республика. Сомнѣнія видны въ приведенныхъ строкахъ, но вѣра брала верхъ, и я съ внутреннимъ удовольствіемъ смотрѣлъ въ Чивиттѣ на печать консульской визы, на которой были вырѣзаны грозныя слова: «République française».»

* * *

Въ Парижѣ Герценъ засталъ республику, но вмѣстѣ съ нею и страшные іюньскіе дни. Время блестящихъ фразъ, конституцій и всемірнаго грома миновало. Четыре мѣсяца ликованій, въ іюнѣ стали подводить итоги. Въ итогѣ оказался нуль полный, обидный, раздражающій. Что же случилось такое? «Французы,—говоритъ Герценъ,—оказались французами—не больше». Раздраженный, обиженный, онъ далъ когда-то излюбленной націи суровую характеристику.

«Французскій народъ возстаетъ внезапно; неотразимый и грозный, какъ взбаламученное море, вступаетъ онъ въ борьбу со зломъ, противостоять ему, удержать его въ эти минуты — невозможно, онъ беретъ Бастилію, беретъ Тюльери, онъ отражаетъ цѣлыя арміи. Это надо переждать. По мѣрѣ того, какъ онъ одолѣваетъ врага, силы его слабѣютъ, умъ тускнѣетъ, энергія исчезаетъ, онъ дѣлается равнодушнымъ къ тому, за что проливалъ кровь. Еще подобный взрывъ, какъ 24 февраля, и еще такое паденіе, какъ іюньскіе дни, и европейскіе народы отвернутся отъ Франціи и позволятъ ей безплодно рѣзаться сколько угодно, не удостоивая ее ни симпатіей, ни участіемъ.»

*) Сѣверный вѣтеръ.

Умъ французовъ тускнѣетъ быстро, и виновата въ этомъ през всего *фраза*, разъ она достаточно громко и блестяще высказа Пусть смыслъ ея самый пошлый, даже гадкій — не бѣда: на пойдутъ, въ нее повѣрятъ.

«Французъ,—продолжаетъ Герценъ,— не свободенъ нравствен богатый иниціативой въ дѣятельности, онъ бѣденъ въ мышлен Онъ думаетъ принятыми понятіями, въ принятыхъ формахъ, пошлымъ идеямъ даетъ модный покрой и доволенъ этимъ. трудно дается новое, даромъ, что бросается на него»...

Герценъ припоминаетъ даже обидное прозвище, данное Воль ромъ своему народу: le tigre-singe (тигръ-обезьяна).

Послѣ пережитаго разочарованія трудно было дать другую рактеристику. А разочарованіе на самомъ дѣлѣ было огромное, ренное—на всю жизнь.

«Утомленная правленіемъ банкировъ, изъ которыхъ главнѣйш богатѣйшій и ничтожнѣйшій Луи-Филиппъ Орлеанъ занималъ принадлежавшій ему престолъ, Франція, послушная голосу «про ковъ и апостоловъ» демократіи—Луи Блана, Ледрю-Роллена, Ламарти возстала наконецъ въ февральскіе зимніе дни 48-го года. Сра рѣзко, рѣшительно выяснилось, что новое движеніе будетъ от чаться другимъ характеромъ, чѣмъ пренія, что оно оставитъ с рую проторенную дорожку парламентскихъ декларацій, очень зв ныхъ и краснорѣчивыхъ, и повернетъ на иную дорогу—какую?»

Благоразумные люди предвидѣли и предугадывали ее. За д мѣсяца до событія Токвиль говорилъ своимъ друзьямъ и товар щамъ, начинавшимъ волновать Францію своими рѣчами, банкета статьями:

«Посмотрите, господа, что происходитъ въ средѣ тѣхъ рабочи классовъ, которые въ настоящее время спокойны. Правда, чисто литическія страсти не волнуютъ ихъ такъ же сильно, какъ вол вали прежде, но развѣ вы не замѣчаете, что ихъ страсти изъ литическихъ сдѣлались соціальными? Развѣ вы не знаете, что сре нихъ мало-по малу распространяются такія мнѣнія, которыя к нятся не къ отмѣнѣ тѣхъ или другихъ законовъ, не къ ниспрове женію того или другого министерства, а къ потрясенію основъ временнаго общественнаго строя? Развѣ вы не прислушиваетесь тому, что говорятъ они ежедневно... Развѣ вы не слышите, что о постоянно утверждаютъ, будто все, что выше ихъ, неспособно и достойно управлять ими, что до настоящаго времени распредѣле земныхъ благъ между людьми было несправедливо, что право с ственности утверждено на основахъ несправедливыхъ?»

Нельзя было короче и проще формулировать настроеніе дем

тіи XIX вѣка, какъ это сдѣлалъ Токвиль въ подчеркнутыхъ разахъ. Недостаточно политическихъ правъ, вѣротерпимости, гровыхъ газетъ и дешевыхъ путей сообщенія. Къ ужасу всѣхъ благомыслящихъ поднимался вопросъ о собственности, ея основахъ, происхожденіи, ея справедливости и несправедливости. Возлѣ того-то пункта демократія XIX вѣка размѣстила свои надежды, ованія, свои привязанности и ненависть. Но XIX вѣкъ не оправдъ ея надеждъ и высказался противъ нея...

Въ дни 24-го — 28-го февраля разыгралась страшная драма, которой настали кровожадные іюньскіе дни укрощенія рабочихъ низверженія еще недавно съ такимъ краснорѣчіемъ провозглашной новой республики.

«Три мѣсяца люди, избранные всеобщей подачей голосовъ, выборые всей земли французской, ничего не дѣлали и вдругъ стали во ъ ростъ, чтобы показать міру зрѣлище невиданное — восьмисотъ повѣкъ, дѣйствующихъ какъ одинъ злодѣй, какъ одинъ извергъ. ровь лилась рѣками, а они не нашли слова любви, примиренія; е великодушное, человѣческое покрылось воплемъ мести и негодоія, голосъ умирающаго Афра не могъ тронуть этого многоголого Калигулы; они прижали къ сердцу національную гвардію, разрѣливавшую безоружныхъ, Сенаръ благословлялъ Кавеньяка, и Кавьякъ умильно плакалъ, исполнивъ всѣ злодѣйства, указанныя адвокскимъ пальцемъ представителей. А грозное меньшинство притаилось, ра скрылась за облаками, довольная, что ее не разстрѣляли, не воили въ подвалахъ; молча смотрѣла она, какъ обираютъ оружіе у жданъ, какъ декретируютъ ссылки, какъ сажаютъ въ тюрьму людей все на свѣтѣ—за то, что они не стрѣляли въ своихъ братій...

Убійство въ эти страшные дни сдѣлалось обязанностью; человѣкъ, не омочившій себѣ рукъ въ пролетарской крови, становился озрителенъ для мѣщанъ. По крайней мѣрѣ большинство имѣло рдость быть злодѣемъ. А эти жалкіе друзья народа, риторы, пуа сердца! Одинъ лишь мужественный плачъ, одно великое негованіе раздалось, и то внѣ камеры. Мрачное проклятіе старца Лаа останется на головѣ бездушныхъ каннибаловъ и всего ярче ступитъ на лбу малодушныхъ, которые, произнося слово «республка», испугались смысла его!...

Парижъ, вся Франція, вся Европа возстали на ими же провозшенную демократію и высказались противъ ея торжества, — выазались со злобой, ожесточеніемъ, ударами штыковъ и выстрѣлами шекъ.»

Герценъ пережилъ самъ страшные іюньскіе дни, пережилъ и ржество Наполеона III-го...

«Вечеромъ 24 іюня,—разсказываетъ онъ,—возвращаясь съ place

Manbert, я взошелъ въ кафе на набережной Orsay. Черезъ нѣсколь минутъ раздался нестройный крикъ и слышался все ближе и ближ я подошелъ къ окну: неуклюжіе, плюгавые полумужики и пол лавочники, нѣсколько навеселѣ, въ скверныхъ мундирахъ и ст ринныхъ киверахъ шли быстрымъ, но безпорядочнымъ шагомъ крикомъ: «да здравствуетъ Людовикъ-Наполеонъ!». Этотъ зловѣщ крикъ я тутъ услышалъ въ первый разъ. Я не могъ выдержать когда они поровнялись, закричалъ изъ всѣхъ силъ: «да здравствуе республика!». Близкіе къ окну показали мнѣ кулаки, офицеръ пр бормоталъ какое-то ругательство, грозя шпагой, и долго еще сл шался ихъ привѣтственный крикъ человѣку, шедшему наказать собс Францію, забывшую въ своей кичливости другіе народы и свой со ственный пролетаріатъ...

«25-го или 26-го іюня въ 8 часовъ утра мы пошли съ А. н Елисейскія поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, п временамъ только трещала ружейная перестрѣлка и раздавался ба рабанъ. Улицы были пусты, по обѣимъ сторонамъ стояла національ ная гвардія. На Place de la Concorde былъ отрядъ мобили; окол нихъ стояло нѣсколько бѣдныхъ женщинъ съ метлами, нѣсколь тряпичниковъ и дворниковъ изъ ближайшихъ домовъ, у всѣхъ лиц были мрачны и поражены ужасомъ. Мальчикъ лѣтъ 17-ти, опираяс на ружье, что-то разсказывалъ; подошли и мы. Онъ и всѣ его това рищи, такіе же мальчики, были полупьяны, съ лицами, запачкан ными порохомъ, съ глазами, воспаленными отъ неспанныхъ ночей водки; многіе дремали, упирая подбородокъ на ружейное дуло.— «Ну, ужъ тутъ что было, этого и описать нельзя,—замолчавъ, он продолжалъ: — да и хорошо таки дрались, ну, только и мы за на шихъ товарищей заплатили; сколько ихъ попадало! я самъ до дула всадилъ штыкъ пяти или шести человѣкамъ—припомнятъ!»—добавил онъ, желая выдать себя за закоснѣлаго злодѣя. Женщины был блѣдны и молчали, какой-то дворникъ замѣтилъ: «по дѣломъ мер завцамъ!», но дикое замѣчаніе не нашло сочувствія. Мы молча и печально пошли прочь...»

Такъ укрощались послѣднія вспышки революціи, такъ Людовикъ Бонапартъ прокладывалъ себѣ путь на императорскій престолъ.

Мудрено было не разочароваться.

* * *

Вскорѣ Герценъ сталъ подозрительнымъ наполеоновской полиціи, и ему пришлось бѣжать въ Женеву.

Швейцарія была тогда сборнымъ мѣстомъ, куда сходились со всѣхъ сторонъ уцѣлѣвшіе остатки европейскихъ движеній. Представители всѣхъ неудавшихся революцій кочевали между Женевой и Базелемъ, толпы ополченцевъ переходили Рейнъ, другіе спускались

-Готарда или шли изъ-за Юры. Кантональное правительство
ло ихъ, кантоны твердо держались за свое старинное право
ища.

Точно на смотру церемоніальнымъ маршемъ проходили по Же-
останавливались, отдыхали и шли дальше всѣ эти люди, ко-
была полна молва. Приверженцы Луи Блана, Маццини, Ко-
собрались въ одномъ мѣстѣ. Странная должна была устроиться
подъ постоянной угрозой новаго изгнанія и голодной смерти.

долженъ сказать,—пишетъ Герценъ,—что эмиграція, предпри-
ая не съ опредѣленной цѣлью, а вызванная побѣдой противной
замыкаетъ развитіе и утягиваетъ развитіе изъ живой дѣя-
ти въ призрачную. Выходя изъ родины съ затаенной злобой,
тоянной мыслью завтра снова въ нее ѣхать, люди не идутъ
, а постоянно возвращаются къ старому, надежда мѣшаетъ
ти и длинному труду; раздраженіе и пустые, но озлобленные
не позволяютъ выйти изъ извѣстнаго числа вопросовъ, мыслей,
наній, изъ которыхъ образуется обязательное, тяготящее пре-
Люди вообще, но пуще всего люди въ исключительномъ поло-
имѣютъ такое пристрастіе къ формализму, къ цеховому духу,
фессіональной наружности, что тотчасъ принимаютъ свой ре-
ическій, доктринерскій типъ. Всѣ эмиграціи, отрѣзанныя отъ
среды, къ которой принадлежали, закрываютъ глаза, чтобы
ть горькихъ истинъ, и вживаются больше въ фантастическій
ый кругъ, состоящій изъ косныхъ воспоминаній и несбыточ-
деждъ. Если прибавимъ къ тому отчужденіе отъ не-эми-
ъ, что-то озлобленное, исключительное, ревнивое, то новый,
й Израиль будетъ совершенно понятенъ.»

Эмигранты 1849 г. не вѣрили еще въ продолжительность по-
ы своихъ враговъ, хмѣль недавнихъ успѣховъ еще не проходилъ
ихъ, пѣсни ликующаго народа и его рукоплесканія еще разда-
ись въ ихъ ушахъ. Они твердо вѣрили, что ихъ пораженіе—ми-
ая неудача и не перекладывали платья изъ чемодана въ комодъ.
ду тѣмъ Парижъ былъ подъ надзоромъ полиціи, Римъ палъ подъ
ами французовъ, Баденъ захватили пруссаки, Венгрію—князь
евичъ-Эриванскій, Женева была биткомъ набита выходцами. Все
толпилось въ отелѣ де Бергъ, въ почтовомъ кафе, на улицахъ.
ѣйшіе стали догадываться, что эта эмиграція не минутна, погова-
ли объ Америкѣ и уѣзжали. Большинство совсѣмъ напротивъ, и
собенности французы, вѣрные своей надеждѣ, ждали всякій день
ти Наполеона, и нарожденія республики демократической и со-
ьной—одни; другіе—демократической, отнюдь не соціальной...

Что дѣлать? Самымъ простымъ, естественнымъ и вмѣстѣ съ тѣм самымъ невозможнымъ дѣломъ оказывалось изданіе журналовъ. Э было тогда повальною болѣзнью. Каждыя двѣ-три недѣли возникал проекты, являлись образчики, разсылались программы, потомъ вы ходило нумера два-три—и все исчезало безслѣдно. Люди, ни на ч неспособные, все еще считали себя способными издавать журнал сколачивали сто-двѣсти франковъ и употребляли ихъ на первы и послѣдній листъ.

Тянулась скучная, однообразная и вмѣстѣ съ тѣмъ тревожн жизнь... Не умеръ ли Наполеонъ, не возстала ли вновь Венгрі Италія?... Эти вопросы задавались каждое утро цѣлые мѣсяцы, ц лые годы... Пока изобрѣтались теоріи и проекты. Эмигрантъ Стру надоѣдалъ всѣмъ своею теоріей семи бичей, эмигрантъ Геннде требовалъ двухъ милліоновъ головъ для очищенія человѣчеств Споры между соціалистами и чистыми демократами волновали пр питанную дымомъ атмосферу кафе, не приводя ни къ чему, кро личнаго раздраженія. Мучительно было жить среди этихъ люде сбитыхъ съ пути, затоптанныхъ въ пыль и грязь, которымъ ли одинъ слѣпой фанатизмъ давалъ какое нибудь утѣшеніе.

Вожди были тутъ же, но это мало помогало дѣлу. Въ Жене между прочимъ жилъ въ то время знаменитый Маццини. Герце зналъ его, видѣлся съ нимъ, и вотъ что онъ объ немъ вспоминает

«Маццини очень простъ, очень любезенъ въ обращеніи, но п вычка властвовать видна, особенно въ спорѣ: онъ едва можетъ скры досаду при противорѣчіи, а иногда и не скрываетъ ея. Силу св онъ знаетъ и откровенно пренебрегаетъ всѣми наружными знака дикторіальной обстановки. Популярность его была тогда огром Въ своей маленькой комнаткѣ, съ вѣчной сигарой во рту, Мацци въ Женевѣ, какъ нѣкогда папа въ Авиньонѣ, сосредоточивалъ своей рукѣ нити психическаго телеграфа, приводившія его въ жи сообщеніе со всѣмъ полуостровомъ. Онъ зналъ каждое біеніе сер своей партіи, чувствовалъ малѣйшее сотрясеніе, немедленно отвѣч на каждое слово и давалъ общее направленіе всему и всѣмъ съ разительной неутомимостью. Фанатикъ и въ то же время органи торъ, онъ покрылъ Италію сѣтью тайныхъ обществъ, связанны между собою и шедшихъ къ общей цѣли. Общества эти вѣтвил неуловимыми артеріями, дробились, мелькали и исчезали въ Апе нахъ или Альпахъ, въ царственныхъ palazzi аристократовъ и въ т ныхъ переулкахъ итальянскихъ городовъ. Сельскіе попы, кондукто ломбардскіе принчипе, контрабандисты, трактирщики, женщи бандиты—все шло на дѣло, всѣ были звенья цѣпи, примыкавшей чему и повиновавшейся ему. Послѣдовательно со временъ Мено

атьевъ Бандьеръ, рядъ за рядомъ выходятъ восторженные юноши, гическіе плебеи, энергическіе аристократы и идутъ по указа- ъ Маццини, рукоположеннаго старцемъ Бонаротти,—идутъ на вный бой, пренебрегая цѣпями и примѣшивая иной разъ къ смертному крику: «Viva l'Italia! Evviva Mazzini!».»

Но Маццини былъ рѣдкость, исключеніе, вождь; обычныя дѣла одилось вести съ обычными людьми, а это было тѣмъ труднѣе, почти всѣ эти дѣла вращались около денегъ. Однимъ изъ са- ь серьезныхъ бѣдствій эмигрантовъ—добивавшихъ ихъ окон- льно—была почти поголовная нищета и чисто органическая не- обность трудиться послѣ революціоннаго угара. На Герцена, на человѣка богатаго, смотрѣли какъ на кредитное учрежде- а къ чему приводилъ такой взглядъ—понять легко. Для образ- разскажу одинъ эпизодъ: исправлявшій нѣкогда должность істра внутреннихъ дѣлъ «временнаго германскаго» правитель- написалъ ему записку, въ которой просилъ найти ему какую дь работу, Герценъ предложилъ ему переписывать для печати ись «Vom andern Ufer» («Съ того берега»), которую онъ самъ овалъ по нѣмецки съ русскаго оригинала. Молодой человѣкъ лъ предложеніе. Черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ, что по- ренъ дурно, что у него нѣтъ ни мѣста, ни тишины, чтобы зани- ся, и просилъ позволенія переписывать въ комнатѣ сожителя ена, Капа. И тутъ работа не пошла. «Министръ» приходилъ въ асовъ утра, лежалъ на диванѣ, курилъ сигары, пилъ пиво и лъ вечеромъ куда нибудь на сходку. Черезъ нѣсколько дней попросилъ у Герцена запиской сто франковъ впередъ за работу. ить послалъ ему двадцать, за что нѣмецкіе эмигранты рѣшили ить не кланяться.

* * *

время своего пребыванія въ Женевѣ Герценъ написалъ пам- «Съ того берега». Въ какомъ настроеніи создавалась книга?

рашное это время—говоритъ онъ—было въ моей жизни. Штиль двухъ ударовъ грома, штиль томящій, тяжелый, но не кази- примѣты грозили пальцемъ, но я и тутъ еще отворачивался къ. Жизнь шла неровно, нестройно, но въ ней были свѣтлые нихъ я обязанъ величественной швейцарской природѣ. Даль ей и изящная природа имѣютъ удивительное цѣлебное влія- по опыту писалъ въ «Поврежденномъ». Когда душа носитъ великую печаль, когда человѣкъ не настолько сладилъ съ

собою, чтобы примириться съ прошедшимъ, чтобы успокоиться пониманіи, ему нужна даль и горы, море и теплый воздухъ. Ну для того, чтобы грусть не превращалась въ ожесточеніе, въ от ніе, чтобы онъ не зачерствѣлъ.»

Полтора года, проведенные Герценомъ въ средоточіи полити скихъ смутъ и распрей, въ постоянномъ раздраженіи, въ виду вавыхъ зрѣлищъ, страшныхъ паденій и мелкихъ измѣнъ, осад много горечи, тоски и устали на днѣ его души. Иронія его при мала другой характеръ; утерявши свое добродушіе, она стала лоть, рѣзать. Грановскій, прочтя въ это время «Съ того бере писалъ ему:

«Книга твоя дошла до насъ, я читалъ ее съ радостью, съ дымъ чувствомъ. Но при всемъ томъ въ ней есть что то уста ты стоишь слишкомъ одиноко и, можетъ, сдѣлаешься великимъ сателемъ, но что было въ Россіи живого и симпатичнаго для в въ твоемъ талантѣ, какъ будто исчезло на чужой почвѣ»...

Грановскій правъ: Герценъ заграницей сталъ писать неи римо лучше, чѣмъ писалъ въ Россіи, но это было другое: отъ повѣди, отъ зова впередъ онъ перешелъ къ исповѣди. Вскорѣ п лое стало главной, почти единственной темой его думъ, а *прошл* хорошее или дурное—всегда грустно.

«Но могъ ли,—спрашиваетъ Герценъ,—человѣкъ пройти иску 1848 и 49 гг. и остаться тѣмъ же? Я самъ чувствовалъ эту мѣну. Только дома, безъ постороннихъ,—находили прежнія ми но не свѣтлаго смѣха, а свѣтлой грусти; вспоминая былое, на друзей, вспоминая недавнія картины римской жизни, возлѣ ватки спящихъ дѣтей или глядя на ихъ игру, душа настраив какъ прежде, какъ нѣкогда—на нее вѣяло свѣжестью, молодой зіей, полной кроткой гармоніей; на сердцѣ становилось хорошо, и подъ вліяніемъ такого вечера легче жилось день, другой»...

Въ эти-то дни раздумья, полной неизвѣстности насчетъ щаго и появился памфлетъ «Съ того берега» («Vom andern U Онъ былъ какъ бы итогомъ революціонной бури, пронесшейся Европой. Теперь съ этимъ итогомъ не согласиться нельзя. Въ св время онъ не удовлетворялъ никого. Надежда еще не остыла и вѣрующіе сочли Герцена измѣнникомъ, защитники стараго одинаково недовольны: *имъ* Герценъ *не* обѣщалъ побѣды...

Суровую оцѣнку «Съ того берега» находимъ мы въ со ніяхъ А. М. Скабичевскаго. Сущность его мыслей сводит слѣдующему.

Формы европейской гражданственности, по мнѣнію Герцена, ея цивилизація, ея добро и зло разочтены по другой сущности, развились изъ иныхъ понятій, сложились по инымъ потребностямъ. До нѣкоторой степени формы эти, какъ все живое, были измѣняемы, но, какъ все живое, измѣняемы до нѣкоторой степени; организмъ можетъ воспитываться, отклоняться отъ назначенія, прилаживаться къ вліяніямъ до тѣхъ поръ, пока отклоненія не отрицаютъ его особности, его индивидуальности, то, что составляетъ его личность; какъ скоро организмъ встрѣчаетъ такого рода вліянія, дѣлается борьба, и организмъ побѣждаетъ или гибнетъ. Явленіе смерти въ томъ и состоитъ, что составныя части организма получаютъ иную цѣль; онѣ не пропадаютъ; пропадаетъ личность, а онѣ вступаютъ въ рядъ совсѣмъ другихъ отношеній, явленій.

Подобнаго рода сравненія, на первый взглядъ, представляются остроумными и заманчивыми. Но начните вдумываться въ нихъ, и вы увидите, что, съ одной стороны, здѣсь смѣшиваются понятія народнаго организма, формъ общественныхъ отношеній и цивилизаціи; съ другой стороны, въ основѣ лежитъ гипотеза весьма шаткая и до сихъ поръ недоказанная, именно та, что будто общественные организмы совершенно аналогичны съ животными и подчинены тѣмъ же законамъ жизни и смерти. Еслибы даже подобная гипотеза и была доказана, то и въ такомъ случаѣ мы не имѣли бы права судить о томъ, разлагается ли европейская цивилизація, или нѣтъ, имѣя въ рукахъ такое неопредѣленное мѣрило, какъ отношеніе сложившихся исторически формъ жизни къ пережитымъ идеямъ. Какъ ни худы эти формы, но люди къ нимъ привыкли, обжились въ нихъ; новыя же идеи такъ недавно появились, что большинство даже и не знаетъ объ ихъ существованіи; другіе такъ мало еще вникли въ нихъ, что скользятъ по нимъ поверхностно, весьма смутно сознавая ихъ. Мы не знаемъ поэтому, что будетъ.

И дальше:

Естественно, что вполнѣ на почву фантазіи становится Герценъ, когда онъ переходитъ къ предсказаніямъ будущаго. По его мнѣнію, одно утѣшеніе и остается, что будущія поколѣнія выродятся еще больше, еще больше обмелѣютъ, обнищаютъ умомъ и сердцемъ, имъ уже и наши дѣла будутъ недоступны, и наши мысли будутъ непонятны. Народы передъ паденіемъ тупѣютъ, ихъ пониманіе помрачается, они выживаютъ изъ ума, какъ эти Меровинги, зачинав-

шіеся въ развратѣ и кровосмѣшеніяхъ и умиравшіе въ каком чаду, ни разу не пришедшіе въ себя; какъ аристократія, выро шаяся до болѣзненныхъ кретиновъ, измельчавшая въ ростѣ, и зившаяся въ чертахъ... и мѣщанская Европа изживетъ свою ную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вялыхъ чувствахъ, убѣжденій, безъ изящныхъ искусствъ, безъ мощной поэзіи. Сла хилыя, глупыя поколѣнія протянутся какъ нибудь до взрыва той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покр ломъ и предастъ забвенію лѣтописей. А тамъ? А тамъ наста весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гробовой доскѣ; варвар младенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣ старческое варварство; дикая, свѣжая мощь распахнется въ м дой груди новыхъ народовъ и начнется новый кругъ событій и тій томъ всеобщей исторіи. Основной тонъ его мы можемъ по теперь. Онъ будетъ принадлежать соціальнымъ идеямъ. Соціал разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди рев ціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смер борьба, въ которой соціализмъ займетъ мѣсто нынѣшняго ко ватизма и будетъ побѣжденъ грядущею, неизвѣстною намъ рев ціей... Вѣчная игра жизни, безжалостная смерть, неотразимая, рожденіе, corsi e ricorsi исторіи, perpetuum mobile жизни. («Скабичевскаго», т. I, 2-е изд.)

Г. Скабичевскій совершенно правъ: Герценъ на самомъ слишкомъ много фантазируетъ во всемъ, что касается будущ онъ слишкомъ субъективенъ, слишкомъ лирикъ, чтобы можно положиться на его предсказанія. Но въ статьѣ «Съ того берега» другая сторона, отмѣтить которую мнѣ представляется безусловн обходимымъ. Здѣсь Герценъ если не первый понялъ, то по кра мѣрѣ первый высказался насчетъ совершенно особеннаго харак революціи 48-го года.

Соціалисты ведутъ съ нея свою эру. Въ февральскіе дни рѣчь не о конституціяхъ, не о правѣ народностей на самостоятел существованіе—хотя и это все было,—а о томъ: должны ли с ствовать *прежнія формы* собственности, или нѣтъ? Центральн вопросомъ былъ вопросъ о трудѣ и его правахъ. Правда, этотъ просъ поднимался и раньше, но сами рабочіе своихъ правъ громко и рѣшительно, какъ въ 48-мъ году, не заявляли еще ник

Послѣ 48-го года слова «свобода», «республика», «парламентъ» утеряли значительную долю своего обаянія; изъ области политической и религіозной центръ тяжести европейской жизни перемѣстился въ экономическую. Какъ ни рѣзка формула: «die Sociallrage ist die Magenfrage»—она справедлива.

Въ Западной Европѣ теперь нѣтъ классовъ, нѣтъ сословій — или, лучше сказать, тамъ только два класса, два сословія: собственники и пролетаріи. Какъ двѣ враждебныя арміи стоятъ они другъ противъ друга: посреди ровное поле, на которомъ въ 1848 году и произошла рѣшительная стычка. Побѣда, разумѣется, осталась на сторонѣ первыхъ. Всѣ правительства и элементы порядка примкнули къ нимъ. Стычки съ той поры не прекращаются; они обагрили кровью Парижъ во дни коммуны, передались за океанъ въ Америку и стали тамъ почти обычнымъ явленіемъ.

Передъ грознымъ вопросомъ труда блѣднѣютъ всѣ остальные.

Съ 48-го года политическіе и соціальные реформаторы раздѣлились и пошли по разнымъ дорогамъ. Маццини—демократъ и революціонеръ сталъ писать брошюры противъ соціализма; для либераловъ Марксъ не можетъ представляться иначе, какъ чудовищемъ; Лассаль всю жизнь велъ жестокую борьбу съ свободомыслящими. На знамени однихъ было написано: «свобода и прогрессъ», на знамени другихъ: «право труда».

Вотъ это Герценъ понялъ и вотъ что онъ первый высказалъ. Увидя, что, не разрѣшивши вопроса о трудѣ, — нельзя сдѣлать и шагу впередъ, онъ отшатнулся отъ либерализма и либеральной Европы, откровенно сказалъ онъ имъ: «вы пережили себя, вамъ нечего больше дѣлать». Но можетъ ли не только либеральная Европа, а Европа вообще разрѣшить соціальный вопросъ? Прямо Герценъ никогда не отвѣчалъ на это, онъ ограничивался утвержденіемъ, что, не разрѣшивши его,—Европа погибнетъ. Во всякомъ случаѣ онъ предвидѣлъ долгую, упорную борьбу,—борьбу цѣлыхъ столѣтій.

Сила европейскаго мѣщанства, его живучесть—поражали его. Онъ презиралъ его, относился къ нему рѣзко и круто, и все же сознавалъ, что исторія принадлежитъ ему, на долго ли—Богъ вѣсть.

«Тяжелое зданіе феодализма рухнуло, долго ломали стѣны, отбивали замки... еще ударъ, еще проломъ сдѣланъ — храбрые впередъ, ворота отперты — и толпа хлынула, только не та, которую

ждали. Кто это такіе? Изъ какого вѣка? Это не спартанцы, и великій populus romanus... Davus sum, non Edipus! Неотразимая волна грязи залила все. Въ террорѣ 93 и 94 гг. выразился внутренній ужасъ якобинцевъ; они увидѣли свою страшную ошибку, хотѣли ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили головъ, все-таки склонили свою собственную передъ силою восходящаго слоя. Все ему покорилось, онъ сломилъ революцію и реакцію, онъ затопилъ старыя формы и наполнилъ ихъ собой, потому что онъ составлялъ единственное дѣятельное и современное большинство.

«Мы — говоритъ въ другомъ мѣстѣ Герценъ — вообще знаемъ Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаемъ ея, а судимъ à livre ouvert, по книжкамъ и картинкамъ... Поживши годъ-другой въ Европѣ, мы съ удивленіемъ видимъ, что вообще западные люди не соотвѣтствуютъ нашему понятію о нихъ, что они гораздо ниже его... Въ идеалъ, составленный нами, входятъ элементы вѣрные, но или не существующіе болѣе, или совершенно измѣнившіеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрящійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ—все это переплавилось и переродилось въ цѣлую совокупность другихъ господствующихъ нравовъ— мѣщанскихъ. Они составляютъ цѣлое, т. е. замкнутое, оконченное въ себѣ воззрѣніе на жизнь, съ своими преданіями и правилами, съ своимъ добромъ и зломъ, съ своими пріемами и съ *своей нравственностью низшаго порядка.*

«Хаотическій просторъ этотъ особенно способствовалъ развитію всѣхъ мелкихъ и дурныхъ сторонъ мѣщанства, подъ всемогущимъ вліяніемъ ничѣмъ необуздываемаго стяжанія.

«Разберите моральныя правила, которыя въ ходу съ полвѣка; чего тутъ нѣтъ? Римскія понятія о государствѣ съ готическимъ раздѣленіемъ властей, протестантизмъ и политическая экономія, Salus populi и chacun pour soi, Брутъ и Ѳома Кемпійскій, Евангеліе и Бентамъ, превосходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. Съ такимъ сумбуромъ въ головѣ и съ магнитомъ, вѣчно притягиваемымъ къ золоту, въ груди не трудно было дойти до тѣхъ нелѣпостей, до которыхъ дошли передовыя страны Европы, между ними и Англія.

«Вся нравственность свелась на то, что неимущій долженъ всѣми средствами пріобрѣтать, а имущій — хранить и увеличивать свою собственность; флагъ, который поднимаютъ на рынкѣ для открытія торга, сталъ хоругвію новаго общества. Человѣкъ de facto сдѣлался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу изъ-за денегъ.

«Политическій вопросъ съ 1830 года дѣлается исключительно вопросомъ мѣщанскимъ, и вѣковая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго состоянія, жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мѣнальныя лавочки и рынки — редакціи журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до

ого привыкли все приводить къ лавочной номенклатурѣ, что называютъ свою старую церковь—Old Shop (старая лавочка).

«Всѣ партіи и оттѣнки мало-по-малу раздѣлились въ мірѣ мѣщанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мѣщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой—неимущіе мѣщане, которые хотятъ вырвать изъ рукъ ихъ состояніе, но не имѣютъ силы, т. е. съ одной стороны скупость, съ другой—зависть. Такъ какъ дѣйствительно нравственнаго начала во всемъ этомъ нѣтъ, то и мѣсто лица въ той или другой сторонѣ опредѣляется внѣшними условіями состоянія,—общественнаго положенія. Одна волна оппозиціи за другой достигаетъ побѣды, т. е. собственности или мѣста, и естественно переходитъ со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можетъ быть лучше, какъ качка парламентскихъ преній—она даетъ движеніе и предѣлы, даетъ видъ дѣла и форму общихъ интересовъ для достиженія своихъ личныхъ цѣлей.

«Мѣщанскіе вопросы—это ordre du jour, само мѣщанство—грозная могучая сила. Подъ его вліяніемъ все перемѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—нравами чинными, вѣжливость—чопорностью, гордость—обидчивостью, парки—огородами, дворцы—гостинницами, открытыми для всѣхъ (т. е. для всѣхъ, имѣющихъ деньги).

«Такова—разсказываетъ Герценъ—общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелѣе и невыносимѣе тамъ, гдѣ современное западное состояніе наибольше развито, тамъ, гдѣ оно вѣрнѣе своимъ началамъ, гдѣ оно богаче, образованнѣе, т. е. промышленнѣе. И вотъ отчего гдѣ нибудь въ Италіи или въ Испаніи не такъ невыносимо удушливо жить, какъ въ Англіи и во Франціи. И вотъ отчего горная, бѣдная сельская Швейцарія—единственный клочекъ Европы, въ который можно удалиться съ миромъ.»

Боюсь, что, прочтя эти суровыя, мрачныя строки, читатель причислитъ Герцена къ разряду пессимистовъ; боюсь потому, что болѣе грубой ошибки нельзя и сдѣлать. Онъ не сталъ пессимистомъ, а распростился съ послѣдними слѣдами романтизма, юности, Шиллера. Его міровоззрѣніе получило въ страшную годину 49 г. послѣднюю отдѣлку, оно отчеканилось уже на всю жизнь...

Не надо обманываться внѣшностью. Въ Герценѣ сильна художественная закваска, поэтому онъ слишкомъ сильно подчиняется настроенію и передаетъ намъ его въ сконцентрированномъ видѣ. Несомнѣнно, что онъ разочаровался во многомъ, несомнѣнно, что его семейныя дѣла обстояли неблагополучно, но даже и теперь его не покидаетъ трезвость мысли, даже и тутъ не доходитъ онъ до отчаянія...

Не пессимизмъ проповѣдуетъ онъ, не отрицаніе, а если позво-

лительно такъ выразиться—антиромантизмъ, т. е. признаніе истин какой бы она ни была, и смиреніе (это его собственное слово) п редъ ней. Послѣдовательный реализмъ не можетъ не закончить этимъ.

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже — насъ возвышаюш обманъ»—говорилъ когда-то Пушкинъ. Правъ онъ или не правъ, - споръ безконечный. Одному нуженъ обманъ, нужна иллюзія, ка источникъ вдохновенія, энергіи,—самой жизни; другой способе обойтись безъ обмана и безъ иллюзіи и работать, питаясь одн черствой коркой истины. Послѣдній выходъ, разумѣется, труднѣ но зато и безопаснѣе; съ истиной, хотя бы и самой низкой—(вообп говоря, ни низкихъ, ни высокихъ истинъ нѣтъ, какъ нѣтъ ихъ в красныхъ, ни зеленыхъ) — не оступишься, а съ «насъ возвышак щимъ обманомъ» оступиться легко, да еще какъ...

И до поѣздки заграницу Герценъ проповѣдывалъ, что жизнь не ро манъ, что устраивается она совсѣмъ не такъ, какъ мы того хотимъ; за границей эта истина предстала передъ нимъ во всей своей суровост и жестокосердіи, а главное уже въ слишкомъ большомъ масштабѣ Первое время это было мучительно тяжело, какъ мучительно тя жела смерть дорогого человѣка, хотя бы о неминуемости ея был завѣдомо извѣстно цѣлые мѣсяцы и годы. Но надо смириться.. Во имя чего же?

«Насъ сердитъ, выводитъ изъ себя нелѣпость, несправедливост жизненныхъ фактовъ — пишетъ Герценъ.—Какъ будто кто нибуд (кромѣ насъ самихъ) обѣщалъ, что все въ мірѣ будетъ изящно, спра ведливо и идти какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлечен ной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться что въ природѣ и исторіи много случайнаго, глупаго, неудавшагося спутаннаго. Разумъ, мысль — это заключеніе; все начинается ту постью новорожденнаго, возможность и стремленіе лежатъ въ немъ но прежде чѣмъ онъ дойдетъ до развитія и сознанія — онъ подвер гается ряду внутреннихъ и внѣшнихъ вліяній, отклоненій, оста новокъ...

«Сознаніе безсилія идеи, отсутствіе обязательной силы истины надъ дѣйствительнымъ міромъ огорчаетъ насъ. Мы скорбимъ, бо лѣемъ. Боль эта пройдетъ со временемъ, трагическій и страстны характеръ уляжется, ее почти нѣтъ въ Новомъ Свѣтѣ Соединенных Штатовъ.

«Но чему нибудь послужили и мы. Наше историческое призва ніе, наше дѣяніе въ томъ и состоитъ, что мы нашимъ разочарова ніемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности пе редъ истиной и избавляемъ отъ этихъ скорбей слѣдующія поколѣнія.

Наше человѣчество протрезвляется, мы— его похмѣлье, мы—его боли родовъ.

«Мы знаемъ, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что попало—десятки тысячъ лѣтъ наноситъ какой нибудь коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавшіе ряды. Полипы умираютъ, не подозрѣвая, что они служили прогрессу... Чему нибудь послужимъ и мы... Войти въ будущее какъ элементъ—не значитъ еще, что будущее исполнитъ наши идеалы. Римъ не исполнилъ ни Платонову республику, ни вообще греческій идеалъ. Средніе вѣка не были развитіемъ Рима. Современная западная мысль воплотится въ исторію, будетъ имѣть свое вліяніе и мѣсто, такъ какъ тѣло наше войдетъ въ составъ травы, людей. Намъ не нравится это безсмертіе, что же съ нимъ дѣлать?..

— Только одно: быть рыцаремъ истины».

X.

Переѣздъ въ Лондонъ.—Послѣдніе годы

Слѣдить за постоянными странствованіями Герцена изъ мѣст въ мѣсто, изъ стороны въ сторону—у меня нѣтъ ни мѣста, ни же ланія. Упомяну лишь о важнѣйшихъ эпизодахъ послѣдняго періода его жизни.

Несчастія, праздность и нужда внесли въ жизнь эмиграціи не терпимость, упрямство, раздраженіе. Она разбивалась на маленькія кучки, средоточіемъ которыхъ являлись имена, чувство, а не принципы. Взглядъ, постоянно обращенный назадъ, и исключительно замкнутое общество портили характеръ, развивали злобу. Жить в этой обстановкѣ, дышать этой атмосферой было невыносимо тяжело Надежды не оправдывались, сознаніе не двигалось ни на шагъ мысль дремала. Примириться съ дѣйствительностью не хотѣлось да и трудно было сдѣлать это людямъ, чья жизнь оказалась проигранной картой.

Изъ Женевы Герценъ уѣхалъ въ Цюрихъ, изъ Цюриха—въ Парижъ, но уѣхать отъ себя, отъ исторіи, дѣйствительности — было некуда. Жизнь шла своей дорогой и каждымъ фактомъ своимъ говорила, что ей нѣтъ ни малѣйшаго дѣла до желаній и надеждъ человѣческихъ.

Пришлось признать власть жизни, пришлось уступить ей.

«Печально сидѣлъ я разъ — пишетъ Герценъ —въ мрачномъ, непріятномъ Цюрихѣ, въ столовой у моей матери... Я уѣхалъ на другой день въ Парижъ... день былъ холодный, снѣжный, два-три полѣна нехотя, дымясь и треща, горѣли въ каминѣ, всѣ были заняты укладкой, я сидѣлъ одинъ одинехонекъ... женевская жизнь носилась передъ глазами, впереди все казалось темно, я чего то боялся и мнѣ было такъ невыносимо, что, если бы я могъ, я бросился бы на ко-

ни, я плакалъ бы и молился бы, но я не могъ, и вмѣсто молитвы написалъ *проклятіе*»...

Разумѣется, не Парижъ могъ успокоить гордую, встревоженную душу. Парижъ того времени призналъ Наполеона и лежалъ у его ногъ безъ мысли, безъ собственнаго достоинства. Его тѣшили и развлекали. Императоръ сказалъ, что онъ долженъ быть первымъ городомъ, и Парижъ на самомъ дѣлѣ становился имъ. Проводились новые кварталы, всюду шли постройки, всюду гремѣла музыка. Того съ острова Джерсея слалъ свои проклятія, свою ненависть; его никто не слушалъ, его некому было слушать.

Имперія торжествовала, торжествовала не только потому, что Людовикъ Бонапартъ сидѣлъ на престолѣ,—а потому, что ея принципы вошли въ жизнь и пронизали ее. Въ сущности всѣ эти принципы сводились къ одному: надо наслаждаться... Наслажденій искали жадно, плохо разбирая, какія они; на нихъ бросались, какъ голодные на хлѣбъ, упивались ими, какъ пьяница виномъ. «Мѣщанство заполонило жизнь. Оно развило биржевую игру до азарта, громадными буквами написало оно на своемъ знамени: «нажива и наслажденіе».

Безумная роскошь царила въ Тюльери, жажда такой же безумной роскоши царила въ жизни. Престолъ, занятый авантюристомъ, давалъ тонъ всему—Парижу, Франціи, даже Европѣ. Всюду пошли наполеоновскія эспаньолки, наполеоновскіе усы. Старались молчать, какъ молчалъ императоръ, съ выраженіемъ полнѣйшаго равнодушія въ лицѣ, старались говорить, какъ онъ,—отрывистыми, какъ бы неохотно брошенными фразами. Какъ одному человѣку, рѣшительно ничѣмъ не замѣчательному, удалось положить печать на всю жизнь, пустить въ европейское обращеніе даже свою прическу—это загадка.

«Въ Парижѣ—пишетъ Герценъ—я видѣлъ только Бонапарта. Онъ невидно вездѣсущъ. Въ ресторанѣ онъ сидитъ противъ васъ и ѣстъ рюфеля въ салфеткѣ, въ театрѣ—онъ рядомъ съ вами, на улицѣ онъ ежеминутно попадается вамъ на глаза. Бѣжать отъ него, уйти, не видѣть его—невозможно.»

Наполеонъ и торжествующее мѣщанство—вотъ все, что приходилось видѣть въ Европѣ; все остальное было въ тѣни, загнано въ голъ. «Мѣщанское растлѣніе пробралось во всѣ тайники семейной и частной жизни... Никогда католицизмъ, никогда рыцарство не отпечатлѣвались такъ глубоко, такъ многосторонне на людяхъ, какъ

буржуазія...» Сила его—громадная историческая сила въ томъ, ч
оно ни къ чему не обязываетъ, ничего не требуетъ отъ человѣк
кромѣ умѣнья быть «удачникомъ».

Въ Парижѣ Герцену, разумѣется, не разрѣшили остаться и п
просили выѣхать въ двадцать четыре часа. Срокъ удалось увеличи
до одного мѣсяца, по истеченіи котораго пришлось покинуть пр
красную Францію съ ея Бонапартами, большими и маленькими. Н
чались скучные годы скитаній изъ города въ городъ, изъ стран
въ страну. Бездомная жизнь тяготила, непріятности сыпались гр
домъ. Въ 52-мъ году умерла Наталья Александровна, въ предш
ствующемъ году (1851) Герценъ потерялъ мать и младшаго сы
Колю. Какъ было не поддаться грусти возлѣ трехъ дорогихъ могил
тѣмъ болѣе, что въ одной изъ нихъ скрылась жизнь, почти цѣл
комъ истраченная на невысказанныя и непонятныя муки.

Отчаянью Герценъ не поддавался, все еще многое оставалось н
жизни, но кипучая энергія и душевная бодрость ушли невозврат

Вообще годы отъ 52-го до 56-го самые тяжелые въ жизни Ге
цена. Безконечной надрывающей грустью вѣетъ отъ всего, что выш
за это время изъ-подъ его пера. Мысль его привязалась къ мра
нымъ сторонамъ жизни и съ мучительнымъ напряженіемъ разб
вала послѣднія иллюзіи.

По его собственнымъ словамъ, онъ былъ униженъ. Самолюб
его было оскорблено, онъ сердился на самого себя. Совѣсть грыз
за прежнія увлеченія и прежнія ошибки, и онъ чувствовалъ нев
носимую усталость. Ему нужна была тогда грудь друга, который б
принялъ безъ суда и осужденія его исповѣдь, былъ бы несчасте
его несчастіемъ; но кругомъ разстилалась пустыня, близкаго
было никого. Убѣгая отъ самого себя, онъ заѣхалъ въ Лондонъ. О
думалъ провести здѣсь мѣсяцъ—два, но мало-по-малу убѣдился, ч
некуда ему ѣхать и не за чѣмъ. Такого отшельничества, какъ
Лондонѣ, онъ не могъ найти нигдѣ.

* * *

Въ Лондонѣ Герценъ очутился опять въ обществѣ политически
эмигрантовъ всѣхъ странъ и націй. Здѣсь въ это время жили К
шутъ и Маццини, сюда заглянулъ Гарибальди. Герценъ познак
мился съ нимъ, и это знакомство навсегда осталось однимъ и

лучшихъ воспоминаній его жизни. Это случилось въ 1854 году, когда знаменитый итальянецъ только что вернулся изъ Южной Америки и стоялъ съ своимъ кораблемъ въ Вестъ-индскихъ докахъ.

«Я — разсказываетъ Герценъ — отправился къ нему съ однимъ изъ его товарищей по римской войнѣ. Гарибальди въ толстомъ свѣтлымъ пальто, съ ярко-краснымъ шарфомъ на шеѣ и фуражкой на головѣ казался мнѣ больше истымъ морякомъ, чѣмъ тѣмъ славнымъ предводителемъ римскаго ополченія, статуэтки котораго въ фантастическомъ костюмѣ продавались во всемъ мірѣ. Добродушная простота его обращенія, отсутствіе всякой претензіи, радушіе, съ которымъ онъ принималъ, располагали въ его пользу. Экипажъ его почти весь состоялъ изъ итальянцевъ; онъ былъ глава и власть, и, я увѣренъ, власть строгая, но всѣ весело и любовно смотрѣли на него; они гордились своимъ капитаномъ. Въ его простыхъ и безцеремонныхъ разговорахъ мало-по-малу становилось чувствительно присутствіе силы; безъ фразъ, безъ общихъ мѣстъ, народный вождь, удивлявшій своею храбростью старыхъ солдатъ, обличался, и въ капитанѣ корабля легко уже было узнать того уязвленнаго льва, который, огрызаясь на каждомъ шагу, отступалъ послѣ взятія Рима и, растерявъ своихъ соподвижниковъ, снова сзывалъ въ Санъ-Марино, Ломбардіи, Равеннѣ, въ Тиролѣ, въ Тесино солдатъ-мужиковъ, бандитовъ, кого попало, чтобы только снова ударить на врага, и это возлѣ тѣла своей подруги, не вынесшей всѣхъ трудностей и лишеній похода.

«Когда онъ отплывалъ за углемъ въ Ньюкестль и оттуда отправлялся въ Средиземное море, я сказалъ ему, что мнѣ ужасно нравится его морская жизнь и что изъ всѣхъ эмигрантовъ онъ избралъ благую часть.—«А кто не велитъ имъ сдѣлать то же? — съ жаромъ возразилъ Гарибальди.—Это была моя любимая мечта, смѣйтесь надъ ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня въ Америкѣ знаютъ, я могъ бы имѣть подъ моимъ начальствомъ три-четыре такихъ корабля. На нихъ я взялъ бы всю эмиграцію. Что теперь дѣлать въ Европѣ? привыкать къ рабству, измѣнять себѣ или въ Англіи ходить по міру. Что же лучше моей мысли (и лицо его просвѣтлѣло), что же лучше, какъ собраться въ кучку возлѣ нѣсколькихъ мачтъ и носиться по океану, закаляя себя въ суровой жизни моряковъ, въ борьбѣ съ стихіями, съ опасностью. Плавучая революція, готовая пристать къ тому или другому берегу—независимая и недосягаемая!» въ эту минуту онъ мнѣ казался какимъ-то классическимъ героемъ въ «Энеиды», о которомъ—живи онъ въ иной вѣкъ—сложилась бы своя легенда.»

Зато какъ обижался же потомъ Герценъ, когда Гарибальди при второмъ посѣщеніи Англіи вдругъ увидѣлъ у себя въ пріемной министерство въ полномъ составѣ и долженъ былъ выслушать длинную рѣчь, въ которой одинъ изъ most honourables — именно Глад-

Входить въ подробную оцѣнку идей, представителемъ котор
былъ «Колоколъ», я не буду. Остановлюсь лишь на двухъ-тр
существеннѣйшихъ пунктахъ. Слова, которыя стояли на знам
газеты: «освобожденіе крестьянъ съ землею», давали тонъ вс
содержанію. Проповѣдуя эту истину, видя въ ней не только о
ществленіе своихъ завѣтныхъ желаній, но и желаній всѣхъ каба
ныхъ людей Европы—все равно, въ какой бы кабалѣ они ни об
тались,—Герценъ забывалъ свою меланхолію, свой душевный р
ладъ. Съ каждымъ днемъ въ немъ крѣпло убѣжденіе, что Россія
не Европа, разрѣшитъ соціальный вопросъ, и разрѣшитъ его мир
безъ красныхъ призраковъ. Въ революцію онъ разувѣрился у
совершенно: много воды утекло съ 48-го года, и возвращаться
мыслямъ о возможности быстрой перемѣны могущественнаго
щанскаго строя Герценъ не хотѣлъ и не могъ. Когда появил
прокламаціи, онъ немедленно же осмѣялъ ихъ составителей.
сравнивалъ ихъ съ дѣтьми, которыхъ восхищаетъ терроръ рево
ціи, какъ дѣтей—терроръ сказокъ съ своими чародѣями и чудо
щами. При этомъ онъ категорически заявилъ, что давно разлюби
обѣ чаши, полныя крови — статскую и военную, и равно не
четъ пить изъ черепа боевыхъ враговъ, ни видѣть голову герцог
Ламбаль на пикѣ, что какая бы кровь ни текла, гдѣ нибудь теку
слезы, что французскій терроръ всего менѣе возможенъ у на
такъ какъ у насъ нѣтъ ни новыхъ догматовъ, ни кровавыхъ ка
хизисовъ для оглашенія; наша «реформація» должна начаться
сознательнаго возвращенія къ народному благу, къ началамъ, п
знаннымъ народнымъ смысломъ и вѣковымъ обычаемъ. Закрѣпл
право каждаго на землю, т. е. объявляя землю тѣмъ, чѣмъ она ес
т. е. неотъемлемой стихіей, мы только пополняемъ и обобщае
народное представленіе объ отношеніи человѣка къ землѣ. От
каясь отъ формъ, чуждыхъ народу, навязанныхъ ему полтора вѣ
назадъ, мы продолжаемъ прерванное и отклоненное развитіе, вв
въ него новую силу мысли, науки...

Затѣмъ, говоря объ общинѣ, Герценъ выставлялъ на видъ то
глубокій смыслъ, который община могла бы получить при правил
номъ развитіи русскихъ экономическихъ народныхъ началъ, и п
тивоставлялъ ее европейскому соціализму. Разрушеніе общины пре
ставлялось ему варварствомъ и преступленіемъ противъ истор
Слишкомъ наученный опытомъ своей тяжелой жизни, онъ пон

ть, какъ надо дорожить всѣми тѣми ячейками, изъ которыхъ
гло развиться лучшее будущее. Ничего восторженнаго и дѣтски
вѣрчиваго въ отношеніи Герцена къ общинѣ нѣтъ. Онъ не тре-
ылъ ея сохраненія въ томъ видѣ, въ какомъ она существовала:—
ь жизнь не музей рѣдкостей и не археологическая коллекція,—
умалъ, что община, оплодотворенная наукой, мыслью, удалитъ
ого ненужныхъ страданій изъ жизни русскаго народа.

Отсюда простъ и естествененъ переходъ къ всесословной воло-
ц такой т. е., гдѣ бы рядомъ, рука объ руку, работали и само-
равлялись интеллигенты—безразлично, изъ какого класса обще-
а—и крестьяне.

Таковы мысли Герцена. Жизнь не поддержала ихъ, не претво-
ла въ себѣ, а большую ихъ часть выбросила въ мусорную кучу
юріи—гдѣ, порывшись, мы могли бы отыскать вѣроятно много
ваго, талантливаго, благороднаго. Но что дѣлать? и кто въ этомъ
новатъ? Герценъ, разумѣется, переоцѣниваетъ живучесть общи-
, но въ тѣ дни такая переоцѣнка была больше, чѣмъ простиль-
ьна. Никто не зналъ и не могъ знать, что въ 1861 году община
ла уже разрушена или, лучше сказать, уже разложилась подъ
ковымъ вліяніемъ крѣпостного права, что она была лишь коко-
ть, изъ котораго давно уже вышло живое существо. Цѣлыхъ
тора вѣка повсюду, особенно въ центральной полосѣ Россіи,
іра» не существовало, зато въ избыткѣ существовалъ помѣщи-
деспотизмъ, который медленно, тихо, систематически разлагалъ
цину.

Въ 1861 г. должны были не возстановлять общину, а возсо-
вать ее, т. е. сдѣлать дѣло не для рукъ человѣческихъ.

Этого, повторяю, Герценъ не видѣлъ и не могъ видѣть. Къ тому
его программа была полнѣе и устойчивѣе для жизни, чѣмъ та,
орая была осуществлена въ дѣйствительности.

Но особенно поучительною во всѣхъ вышеприведенныхъ взгля-
ъ является не экономическая, а философско-историческая ихъ
рона. Съ одной стороны Герценъ требуетъ сохраненія народныхъ
орическихъ формъ жизни, съ другой—онъ особенно подчеркиваетъ
имущество Россіи передъ Европой въ дѣлѣ соціальнаго обновле-
. За то и другое онъ не разъ слышалъ обращенное къ нему про-
ніе: «славянофилъ»,—прозваніе, во всякомъ случаѣ, непріятное

для человѣка, который жилъ и выросъ совсѣмъ въ другихъ вз
дахъ и самъ принималъ горячее участіе въ борьбѣ съ «славянам

Славянофиломъ Герценъ не былъ никогда и не могъ быть; жизненный опытъ и темпераментъ по необходимости дѣлали человѣкомъ другого лагеря. Славянофильство—вѣдь это тоже пія, къ тому же довольно наивная. Требовалось захотѣть и нуться назадъ, къ старымъ формамъ жизни. Но развѣ захот такъ легко, и развѣ когда человѣкъ захотѣлъ, все такъ и дѣла по его желанію. У исторіи свои законы, свой ходъ, своя воля. ловѣкъ и его воля только элементъ, и едвали даже значительн въ дѣлѣ созиданія исторіи. Климатъ, наслѣдственность, тради экономическая обстановка, окружающая его, собственная ин ность могли бы, правильно растолкованные, значительно поуба его гонору.

Герценъ сказалъ однажды: «признать, что никакого вы нѣтъ, — тоже выходъ»; затѣмъ результатомъ своего жизнен опыта онъ выставлялъ «смиреніе», какъ преклоненіе передъ ис ной, какъ пожертвованіе самонадѣянными человѣческими ил зіями. Разбирая какой нибудь жизненный практическій проек онъ прежде всего ставитъ вопросъ о его возможности или не можности. Очевидно поэтому, что съ славянами онъ долженъ б расходиться въ существеннѣйшемъ пунктѣ: у него не было вѣры во всемогущество человѣка, не было вѣры и въ то, что че вѣку можетъ прійти откуда нибудь могущественная посторон помощь.

Онъ разочаровался въ Европѣ, но это не было безусловн разочарованіемъ пессимиста. До того, чтобы заподозрить сост тельность науки, знанія, — онъ не доходитъ никогда. Въ его г захъ они были и остались навсегда обновляющими силами, ист никами живой воды.

«Наука—писалъ онъ между прочимъ—спасла бы Базарова, пересталъ бы глядѣть на людей свысока, съ глубокимъ, нескры мымъ презрѣніемъ... Наука учитъ насъ смиренію. Она не мож ни на что глядѣть свысока, она не знаетъ, что такое свысока, ничего не презираетъ, никогда не лжетъ для роли, ничего не ск ваетъ для кокетства. Она останавливается передъ фактами, к изслѣдователь, иногда какъ врачъ, никогда какъ палачъ, еще мен съ враждебностью и ироніей. Наука—любовь, какъ сказалъ С ноза о мысли и вѣдѣніи.»

Эту-то любовь и призывалъ Герценъ въ Россію, чтобы обно-
ь ее...

Но, разумѣется, онъ первое время поторопился взвинтить себя.

«Теперь я бѣшусь—писалъ онъ—отъ несправедливости узколобыхъ
пицистовъ, которые умѣютъ видѣть деспотизмъ только подъ 59-мъ
усомъ сѣверной широты. Откуда и почему двѣ разныя мѣрки?
ывайте и позорьте, какъ хотите, петербургскій абсолютизмъ и
е терпѣливое послушаніе, но позорьте-же и указывайте деспо-
ъ повсюду, во всѣхъ его формахъ, является ли онъ въ видѣ пре-
нта республики, временнаго правительства или національнаго
анія.» (Страховъ, «Борьба съ Западомъ», стр. 116.)

Непониманіе и враждебность иностранцевъ были постояннымъ
омъ, возбуждавшимъ Герцена къ защитѣ Россіи. Въ пылу поле-
и онъ натягивалъ свои аргументы и возводилъ въ квадратъ
построеніе, *хотя, разумѣется, вѣритъ въ Россію, ея бу-
дность, какъ и въ будущность каждаго вообще народа*,—не
ъ и не преступленіе, а скорѣе наоборотъ. Эта вѣра крѣпнитъ,
ь бы не превращалась она въ догматъ, нетерпящій ни возраже-
, ни ограниченія. Общую свою мысль Герценъ выражаетъ такъ:

«Мнѣ кажется, что есть нѣчто въ русской жизни, что выше об-
ы и государственнаго могущества; это нѣчто трудно уловить
вами, а еще труднѣе указать пальцемъ. Я говорю о той внутрен-
, но вполнѣ сознательной силѣ, которая столь чудесно сохранила
ский народъ подъ игомъ турецкихъ ордъ и нѣмецкой бюрокра-
, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и подъ западными капраль-
ми палками;—о той внутренней силѣ, которая сохранила пре-
сныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина
ъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія, которая на цар-
й приказъ образоваться отвѣтила черезъ сто лѣтъ колоссальнымъ
еніемъ Пушкина;—о той наконецъ силѣ и вѣрѣ въ себя, которая
ва въ нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русскій на-
ъ, его непоколебимую вѣру въ себя, сберегла внѣ всякихъ формъ
ротивъ всякихъ формъ; для чего?.. покажетъ время». И дальше:
ссія является послѣднимъ народомъ, полнымъ юношескихъ стре-
ній къ жизни въ то время, когда другіе чувствуютъ себя уста-
ми и отжившими.»

* * *

Слава Герцена и «Колокола» продолжалась недолго. Обѣ край-
партіи—красныхъ и умѣренныхъ—возстали противъ него. Дѣло
алось съ красныхъ. Герцена стали обвинять въ умѣренности,
ъ не съумѣлъ удержаться на своей позиціи, и «Колоколъ» быстро
ъ принимать другой характеръ, другую окраску.

Въ 1862 г. въ Лондонъ пріѣхалъ другъ Герцена, Бакун только что бѣжавшій изъ Сибири черезъ Америку, и сталъ рабо въ «Колоколѣ». Это тотчасъ же отразилось на тонѣ и выборѣ теріала: газета стала красной, пожалуй, даже анархической.

«Личность Бакунина—говоритъ Пассекъ—была странна и з чательна: умный, начитанный, обладающій даромъ слова, про нутый нѣмецкой философіей, онъ иногда былъ молодушенъ, как бенокъ, которому хочется какого нибудь дѣла: если печатать прокламаціи; если дѣйствовать, то все вездѣ поставить вверхъ дн ничего не щадить, никогда не задаваться мыслью, что изъ этого жетъ выйти,—идти напроломъ.»

Герценъ любилъ Бакунина, любилъ его за его добродушіе, печность, которыя заслужили ему прозваніе «большой Лизы», люб въ немъ, наконецъ, старо-барскую широту натуры. Но онъ ясно дѣлъ, что дѣлать съ нимъ какое нибудь дѣло—трудно, едва ли д возможно. Бакунинъ, напр., въ 48 году возбуждалъ рабочихъ п тивъ ихъ же правительства, объѣхалъ югъ Европы, проповѣдуя всюду анархизмъ, попалъ въ австрійскую крѣпость, былъ выд Россіи, сосланъ въ Сибирь и вернулся въ Лондонъ готовый на с съ проповѣдью «въ топоры!». Художникъ Ге разсказываетъ въ с ихъ воспоминаніяхъ, что однажды на вопросъ, вѣритъ ли онъ то, что проповѣдуетъ, Бакунинъ отвѣчалъ: «не знаю, но лишь все это завертѣлось, закрутилось и потомъ—головой внизъ»...

«Бакунинъ,—продолжаетъ Пассекъ,—часто вредно вліялъ на Г цена, обыкновенно черезъ Огарева. Онъ настаивалъ на своей п граммѣ, а эта программа скоро запугала всѣхъ и прямо противо чила тому, что раньше говорилось въ «Колоколѣ».»

Польская струнка живѣе забилась въ вольной русской ти графіи. Сначала Бакунинъ помѣщалъ въ «Колоколѣ» свои стат но Герценъ находилъ ихъ крайними, боролся, сколько могъ, и пр ложилъ Бакунину говорить съ публикой черезъ отдѣльныя бр шюры. Но съ настойчивостью Бакунина справиться было не лег и пришлось уступать все больше и больше. Пріѣзжавшіе теперь Лондонъ русскіе, замѣтивъ «польскій» духъ, говорили съ упрека о заступничествѣ повстанцевъ. Герценъ отвѣчалъ рѣзко, что г манность — его девизъ, что онъ всегда будетъ на сторонѣ слаба что онъ не можетъ цѣною неправды купить сочувствія соотеч ственниковъ. Это, разумѣется, только подливало масла въ огонь.

Какъ упорно старался удержать Герценъ свою газету въ пре

направленіи, понимая, что вмѣшательство въ польскія собы-
лько погубитъ ее, видно хотя бы изъ слѣдующаго краткаго
за Тучковой въ ея *Воспоминаніяхъ*.

«Еще до освобожденія крестьянъ пріѣзжали въ Лондонъ три
ржонда. Они пріѣзжали затѣмъ, чтобы заручиться помощью
ва. Увидавъ ихъ, Бакунинъ началъ было говорить о тысячахъ,
ыхъ Герценъ и онъ могутъ направить, куда хотятъ. Но, слушая
ина, они вопросительно смотрѣли на Герцена, и тотъ сказалъ
ьенно, что не располагаетъ никакой матеріальной силой въ
и, но что онъ имѣетъ вліяніе на нѣкоторое меньшинство своимъ
мъ и искренностью. Сначала Герценъ убѣждалъ этихъ господъ
ить всѣ замыслы возстанія, говоря, что не будетъ пользы: Рос-
е сильна, Польшѣ съ ней не тягаться. Россія идетъ путемъ по-
наго прогресса, пользуйтесь тѣмъ, что она выработаетъ. Ваше
ніе ни къ чему не приведетъ, только замедлитъ или даже по-
етъ вспять ходъ развитія Россіи, а стало быть и вашего. Пере-
е ржонду мои слова. Въ чемъ же можетъ состоять сближеніе
у нами,—продолжалъ Герценъ.—Жалѣя Польшу, мы не можемъ
ствовать ея аристократическому направленію; освободите кре-
ъ съ землею, и у насъ будетъ почва для сближенія. Но послан-
ржонда молчали или уклончиво говорили, что освобожденіе кре-
ъ еще не подготовлено въ Польшѣ. Тогда Герценъ возразилъ,
ъ такомъ случаѣ не только русскіе не будутъ имъ сочувство-
но что и польскіе крестьяне поймутъ, что имъ не за что под-
ться опасности, и примкнутъ въ концѣ концовъ къ русскому
тельству, что позже и произошло въ дѣйствительности. Такъ
анники и уѣхали обратно, не получивъ отъ Герцена никакихъ
аній.»

Но съ одной стороны настойчивость друзей, съ другой — дикія
ванія охранителей заставили Герцена вмѣшаться, поставить
карту все и проиграть ее. Вскорѣ Бакунинъ совершенно погу-
дѣло, задумавъ вооруженное нападеніе на Россію.

«Польское возстаніе не было еще подавлено, и Бакунинъ рѣ-
ся принять въ немъ участіе. Это было необходимое послѣдствіе
его многолѣтней пропаганды въ пользу Польши. Хотя послѣд-
былъ въ высшей степени образованъ, начитанъ, обладалъ боль-
и познаніями и блестящимъ, находчивымъ умомъ, великолѣ-
ъ даромъ слова, но при всемъ томъ въ немъ была дѣтская
а—слабость: жажда революціонной дѣятельности во что бы то ни
ю. Въ то время поляки вездѣ искали возбудить къ себѣ сочув-
е. Наконецъ, они набрали въ Лондонѣ человѣкъ восемьдесятъ во-
еровъ изъ эмигрантовъ всѣхъ націй и наняли пароходъ, кото-
долженъ былъ ихъ высадить (не помню гдѣ), откуда волонтеры
ли бы въ Польшу. Странно было то обстоятельство, что Ж.,
ставитель ржонда въ Лондонѣ, и польскіе эмигранты обратились

за наймомъ парохода именно къ той компаніи, которая вела
ныя дѣла (продажа угля) съ Россіей. Бакунинъ отправился съ
экспедиціей. Подъ предлогомъ, что нужно запастись водой, капи
бросилъ якорь у шведскихъ береговъ. Тутъ простояли двое су
на третій день спросили капитана, скоро-ли въ путь; тогда он
явилъ, что далѣе не пойдетъ. Тутъ волонтеры подняли шумъ, гв
но ничего не могли сдѣлать съ упрямымъ капитаномъ. Баку
отправился въ Стокгольмъ для принесенія жалобы на предател
капитана. Онъ слышалъ, что братъ короля очень образованн
либеральный, и надѣялся черезъ его содѣйствіе заставить капи
продолжать путь. Однако надежды Бакунина не осуществи
Общество въ Стокгольмѣ было очень образовано, горячо сочув
вало всему либеральному. Бакунинъ во все время былъ очень хо
принятъ братомъ короля и чествуемъ обществомъ, какъ русскій
таторъ 1848 года. Ему безпрестанно давали обѣды, дѣлали для
вечера, пили за его здоровье, радовались счастью его лицезрѣ
ничего не помогли относительно капитана. Прочіе эмигранты р
лись на отважный поступокъ: наняли лодки и продолжали тру
путь. Вдругъ поднялась страшная буря, и эти несчастные смѣл
погибли въ безполезной борьбѣ съ разъяренной стихіей.»

* * *

Въ безполезной борьбѣ съ разъяренной стихіей обществен
мнѣнія погибла и дѣятельность Герцена. Двѣ-три статьи о
щавскихъ событіяхъ—и онъ заслужилъ титулъ анархиста и из
ника отечеству. Живая работа опять оборвалась и уже навс
Оставалось одно—вспоминать о прошломъ, еще разъ пережи
то, что когда-то такъ волновало и мучило, что являлось тепер
памяти преломленнымъ черезъ призму творческаго воображ
Приходилось уже не жить больше, а лишь гулять по кладб
усѣянному дорогими могилами надеждъ, упованій, людей. С
этихъ могилъ была одна, самая дорогая, самая грустная, и къ
все чаще и чаще сталъ обращаться Герценъ. Кладбище навѣ
мысль о смерти скорой и неизбѣжной; дорогая могила—могила
бимой жены—робко шептала о чемъ-то другомъ, не давая отча
совершенно заполонить измученную душу...

* * *

По окончаніи польскаго возстанія, въ 1864 году, Герценъ о
вилъ Лондонъ и вмѣстѣ съ своимъ семействомъ и Огаревыми п

ы въ Женевѣ. Туда же онъ перевелъ и свою типографію. Въ невѣ онъ жилъ постоянно вплоть до 1866 года.

Это были для него тяжелые годы. «Колоколъ» продолжалъ выть, но ясно было, что его вліяніе пропало: одни считали его шкомъ умѣреннымъ, другіе — черезчуръ краснымъ. Въ Россіи ступала новая эпоха, начиналась реакція, а вмѣстѣ съ этимъ ія движенія, вышедшая изъ массы общества, образовала кружки исключительными цѣлями и исключительною проповѣдью.

Въ Женеву то и дѣло наѣзжали молодые эмигранты, но между ми и Герценомъ было слишкомъ мало общаго, не только для того, бы столковаться, но даже и для того, чтобы просто разговаривать.

Воспоминаніе объ этой молодой эмиграціи осталось очень тяжелымъ для Герцена. Онъ говорилъ о ней не иначе, какъ съ раздраженіемъ и даже отвращеніемъ. На Герцена и Огарева эмигранты трѣли какъ на отсталыхъ инвалидовъ, какъ на прошедшее. Мало малу они приняли покровительственный тонъ и стали поучать ариковъ, упрекать ихъ за барство, за комфортъ, за спокойную знь, и дошли, наконецъ, до того, что обвинили ихъ въ присвоеніи чужихъ денегъ!

«Я не бросаю камнемъ въ молодое поколѣніе, — говоритъ Герценъ,—но эти представители были представителями крайности, временный типъ, переходная форма, болѣзнь, развившаяся изъ застоя... мыя простыя отношенія съ ними были затруднительны. У нихъ не ыло ни воспитанія, ни научной подготовки. Конечно все это по необходимости должно было переработаться и перемѣниться; жаль только, то подготовленная почва была слишкомъ проросшею плевелами.»

Но оправдывалъ ли Герценъ «накипь броженія» или обвинялъ —ему жилось отъ этого не легче.

Въ Женевѣ опять стало душно, невыносимо, и опять для Герцена начались подъ старость годы странствованій, безпокойнаго скитанія и тоска бездѣйствія. Столкновенія съ женевской эмиграціей продолжались; Герценъ сердился и жаловался; но зачѣмъ намъ ворошить старую пыль? Интереснѣе литературныя предпріятія Герцена; пера онъ не выпускалъ до самой смерти. Оно, какъ неизмѣнный другъ, не раздражало, не предательствовало. За эти послѣдніе годы «Колоколъ» прекратился, потомъ опять былъ возобновленъ, издавалась «Полярная Звѣзда», готовилось полное собраніе сочиненій. Обо всемъ этомъ упоминается въ письмахъ.

Напримѣръ, отъ января 1868 года, Герценъ писалъ Ога изъ Ниццы:

«Въ «Figaro» было нѣсколько строкъ о прекращеніи «Колок и переведенъ весь анекдотъ о N.N. Замѣть, ни одного русскаг лоса—ни даже частнаго. «Колоколъ» умеръ, какъ Клейнмихель, кѣмъ не оплаканъ», и мы лѣзли изъ шкуры для этой милой св..

Или:

«Журналы обыкновенно интересны. Какъ-то пульсъ стару поднялся и даже «Голосъ» буянитъ не въ свою голову. Въ немъ рѣзкія статьи. Далѣе, поручи Тхоржевскому достать «Revue deux mondes» 1-го апрѣля и прочти статью Мазада о Россіи смотри на пошлое, шляхетски «вѣстовое» окончаніе, — статья о интересна. Мнѣ теперь лафа—все уѣхало или уѣзжаетъ, и въ Са человѣкъ пять и сотня журналовъ. Охъ, слѣдовало бы теперь п ботать гдѣ нибудь на виду... Въ Парижѣ я увидѣлъ, что вновь был легко поставить барку по теченью... но... частныя дѣла мо больше всего мѣшаютъ всему.»

Однако желаніе поработать гдѣ нибудь на виду, на гла большой публики осуществлялось крупицами: лишь кое-что подъ пера Герцена попало въ русскіе журналы. Это тоже было пріятно, и непріятно главнымъ образомъ потому, что чувств лась полная невозможность возвратить прежнее... да и зачѣмъ б возвращать его?

Но, хотя бы и инвалидъ уже, или по крайней мѣрѣ челов приговорившій себя, Герценъ не переставалъ энергично работ Въ это время была написана большая часть его знаменитаго « лое и Думы»,—этихъ удивительныхъ мемуаровъ, полныхъ гру лиризма, тоски, а подчасъ злобы и ненависти. Ничего подоб я не знаю даже въ западной литературѣ—такъ богатой мемуара о русской же нечего и говорить: русскіе мемуары въ громадн большинствѣ случаевъ — простая хроника; «Былое и Думы» — стоящее художественное произведеніе. Читая его, вы не только з комитесь съ прошлой эпохой, но и—и даже прежде всего—лич стью автора. Лирическія отступленія безпрестанны и полны в новенія; ихъ можно сравнить съ лучшими пѣснями изгнан Овидія. Васъ удивляетъ сначала, какъ рѣшается Герценъ т много говорить о себѣ, говорить постоянно, безъ умолку, расп страняться насчетъ самыхъ интимныхъ подробностей своей жиз Эготизмъ, поднимаясь порою до высоты элегіи, доходитъ подчас наивности. Однако вы скоро миритесь и съ этою стороною дѣ

ніе огромнаго пытливаго ума, глубоко чувствующаго и глубоко
алавшагося сердца, какая-то подавленная грусть, разлитая по
ъ страницамъ, неожиданныя вспышки смертельно бьющей иро-
все это неотразимо дѣйствуетъ на васъ, заставляетъ негодо-
смѣяться, вызываетъ въ васъ тоску. Нельзя пропустить ни
строчки. Отрывочна лишь форма, и даже эта отрывочность
ящаяся. Съ удивительнымъ искусствомъ, съ соблюденіемъ пол-
армоніи сущности, Герценъ переходитъ отъ дѣтской къ Дуб-
у, оттуда ведетъ васъ въ контору Ротшильдовъ... Есть худо-
венная стройность во всемъ этомъ разнообразіи, и вы скоро
ыкаете не удивляться, когда какъ будто неожиданно вамъ
агаютъ разсужденія о Прудонѣ... Изъ каждой строки бьетъ
емъ настоящій искренній талантъ, изъ каждой строки на васъ
рятъ серьезные глаза измученнаго человѣка, изстрадавшагося
изни, но не сломленнаго ею, не дающаго сломить себя. Эта
сть силы вызываетъ уваженіе, чаруетъ и подчиняетъ васъ
. Но, несмотря на свой лиризмъ, на свои субъективные эле-
ты,— «Былое и Думы» вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасный историче-
документъ для русской жизни 40-хъ и для западной 50-хъ
въ. Герценъ умѣетъ излагать факты и придавать имъ окраску
чности. Такія личности, какъ Тюфяевъ, описанный имъ въ
рьмѣ и ссылкѣ», годится на любую историческую картину; та-
характеристики, какъ старика Яковлева, его брата, Химика и
.— подлинные историческіе документы изъ эпохи стараго бар-
, грандіознаго административнаго произвола, крѣпостничества.
дуже и «думы»—то изящныя какъ лучшія элегіи, то проникну-
глубокой философской мыслью.

Приведу еще нѣсколько отрывковъ изъ писемъ къ Огареву.

«Фогтъ говоритъ, — писалъ Герценъ въ 1869 году,—что у меня
ное расположеніе къ діабету и покамѣстъ рекомендовалъ пить
ральный спрудель въ Люцернѣ, а черезъ двѣ недѣли опять ѣхать
Бернъ. Вообще мнѣ теперь лучше; но всетаки нездоровится.»

«Тата пріѣхала со мной.»

«...Здѣсь Ауэрбахъ съ женой, они недавно изъ Россіи и были въ
. Бакунинъ совершенно принадлежитъ къ партіи Элпидина и съ
въ кошонной дружбѣ.»

«...Caro mio—намъ пора въ отставку и приняться за что нибудь
гое—за большія сочиненія или за длинную старость!»

Герценъ упоминаетъ здѣсь о начавшейся у него болѣзни—діа-

бетѣ, которая, осложнившись воспаленіемъ легкихъ, и свела въ могилу $^{9}/_{21}$-го января 1870 года. Онъ умеръ въ Парижѣ—с тальцемъ, какъ всегда, и похороненъ по его желанію въ Ниццѣ

Судьба щедро надѣлила Герцена умомъ, талантомъ, матеріа ными средствами, и вмѣстѣ съ тѣмъ его жизнь не можетъ б названа счастливой. Нельзя не вѣрить его искренности, и когда говоритъ, напр. въ «Быломъ и Думахъ»:

«Разочарованіе, усталь, Blasirtheit»—сказали бы о моихъ вн лѣвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, разочарова да, усталь! Разочарованіе—слово битое, пошлое, дымка, подъ к рой скрывается лѣнь сердца, эгоизмъ, придающій себѣ видъ лю звучная пустота самолюбія, имѣющаго притязанія на все, силы на что. Давно надоѣли намъ всѣ эти высшія неузнанныя нату исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомѣрія въ жи и романахъ. Все это совершенно такъ, а врядъ ли нѣтъ чего ниб истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени на днѣ эт страшныхъ психическихъ болей, вырождающихся въ смѣшныя па діи и пошлый маскарадъ...»

Вступая въ жизнь, Герценъ могъ разсчитывать на лучш участь. Суровость, съ какою съ нимъ поступали въ юности, обид эту властную гордую натуру, и онъ далъ себѣ клятву не мирит никогда. Роковой шагъ эмиграціи всю жизнь тяготѣлъ надъ н своими тяжелыми послѣдствіями. Герцену пришлось скитаться жизнь; какъ Байронъ, онъ не нашелъ нигдѣ покоя. Швейцарія оп тивѣла ему своимъ мелкимъ разсчетливымъ мѣщанствомъ, Англія своимъ крупнымъ мѣщанствомъ, Франція—своей трусливой пок ностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграціи, вернуться въ Р сію онъ не могъ, не хотѣлось—да и къ чему бы это повело? Бро его изъ угла въ уголъ, изъ страны въ страну, изъ города въ горо эмиграція окружала его всегда чужимъ обществомъ или, луч сказать,—это общество было его только на половину. Съ эмигр тами другихъ странъ онъ не могъ чувствовать никакой крові связи; свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чѣ радости... *). А тутъ еще семейная неурядица—постоянная, му

---

*) Но почему же Герценъ не могъ сойтись съ эмиграціей ни съ молод ни со старой? Да просто по той причинѣ, что его интересы и интересы э

ы, которой я, по весьма понятнымъ причинамъ, лишь слегка лся въ очеркѣ.

ерпѣть, не жаловаться? Но у Герцена натура была не такова. оба, раздраженіе, грусть неотразимо просились наружу, какъ ись они у Байрона и у всѣхъ людей того же гордаго типа. ценъ, и Байронъ могли писать *только о себѣ*; своими на- ками надъ врагами, своими жалобами на свою долю они напол- лыя страницы, цѣлые томы. Русскій изгнанникъ чувство- что онъ сродни великому англійскому поэту.

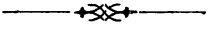
Байронъ,—пишетъ Герценъ,—нашедшій слово и голосъ для своего ированія и своей устали, былъ слишкомъ гордъ, чтобы притво- ся, чтобы страдать для рукоплесканій; напротивъ, онъ часто ую мысль свою высказывалъ съ такимъ юморомъ, что добрые помирали со смѣху. Разочарованіе Байрона больше, чѣмъ на-

---

ныхъ эмигрантовъ были въ сущности совершенно различны. Герценъ ино смотрѣлъ впередъ и гораздо больше видѣлъ въ немъ, читалъ въ немъ, ирилъ въ него. Онъ предсказалъ неуспѣхъ революціи 48-го года, франко- ую войну, торжество политики Бисмарка. Онъ былъ настроенъ на ій ладъ, и что же было дѣлать ему среди фанатиковъ, ожидавшихъ тор- своихъ идей, проектовъ, предположеній чуть ли не на завтрашній день. е было мѣста между ними еще и потому, что въ немъ крѣпко сидѣла общая почти всѣмъ дѣятелямъ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ одного аго,—это черта умственнаго аристократизма, своего рода даже пресы- Старое барство отзывалось въ этомъ и всегда съ невыгодой для тѣхъ, ъ его преемникомъ. Возьмите Тургенева и Герцена,—оба они, не смотря ъ демократизмъ своихъ убѣжденій, никакъ не могли сойтись съ тѣми и, которые были плоть отъ плоти и кровь отъ крови демократіи. Ихъ ки манеры, языкъ, замашки «новыхъ людей», выступившихъ въ Россіи ну въ шестидесятыхъ годахъ. Они искали изящества, особенной утон- чувствъ и идей и, разумѣется, не находили ихъ у дѣятелей, явившихся ну ихъ поколѣнію. Но больше всего ихъ мутило — и это настоящее отъ догматизма мысли, отъ всего, что провозглашалось съ безусловной ренностью и съ ненавистью къ какому бы то ни было ограниченію, нію, колебанію. Они извѣдали слишкомъ много, ихъ жизнь была слиш- ата, они не признавали никакого подчиненія. Въ ихъ взглядѣ навсегда ся пресыщеніе и утомленность. Художественная закваска, своего рода ратизмъ жизни ставилъ между ними и истинными «практиками» непреодо- преграду—и это несмотря на искреннее желаніе обѣихъ сторонъ сгово- , несмотря даже на общность теоретическихъ убѣжденій. Умственный ратизмъ — очень характеренъ, повторяю, для Герцена, но полное его леніе завело бы насъ слишкомъ далеко. Наша задача заключалась лишь ъ, чтобы указать на тѣ мысли Герцена, которыя сыграли историче- роль.

призъ, больше, нежели личное настроеніе. Байронъ сломился отто что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что тре вання его были ложны, а потому, что Англія и Байронъ были дву разныхъ возрастовъ, двухъ разныхъ воспитаній и встрѣтились имен въ ту эпоху, въ которую туманъ разсѣялся». «Разрывъ, котор Байронъ чувствовалъ, какъ поэтъ и геній, сорокъ лѣтъ тому наза послѣ ряда новыхъ испытаній, послѣ грязнаго перехода съ 183(1848 г. и гнуснаго съ 48 до сегодняшняго дня, поразилъ теп многихъ. И мы, какъ Байронъ, не знаемъ, куда дѣться, куда п клонить голову.»

Но на той точкѣ абсолютнаго отрицанія, на которой оста вился Байронъ, Герценъ остановиться не могъ. Для этого нуже своего рода фанатизмъ. Байронъ безусловно довѣрялся кажд своему настроенію—оттого-то онъ и есть великій поэтъ, — онъ всѣхъ парусахъ несся на волнахъ своего негодованія, своей зло даже не заглядывая впередъ, такъ какъ зналъ, что тамъ нич кромѣ смерти нѣтъ. Герценъ больше скептикъ и притомъ сов шенно не фанатикъ. Въ его душѣ, несмотря на всю ея живост горячность, былъ уголокъ, никогда не воспламенявшійся. Герц постоянно смотрѣлъ за собой, оттого-то полной безнадежност него и быть не можетъ. Эпилогъ Байрона—его «Darkness», гдѣ рисована страшная картина смерти всего; эпилогъ Герцена—с реніе передъ истиной и наука...



DK 209.6 .H4 .S6 C.1
A.I. Gertsen
Stanford University Libraries
3 6105 035 446 264

Stanford University
Stanford, Califo

Return this book on or befo